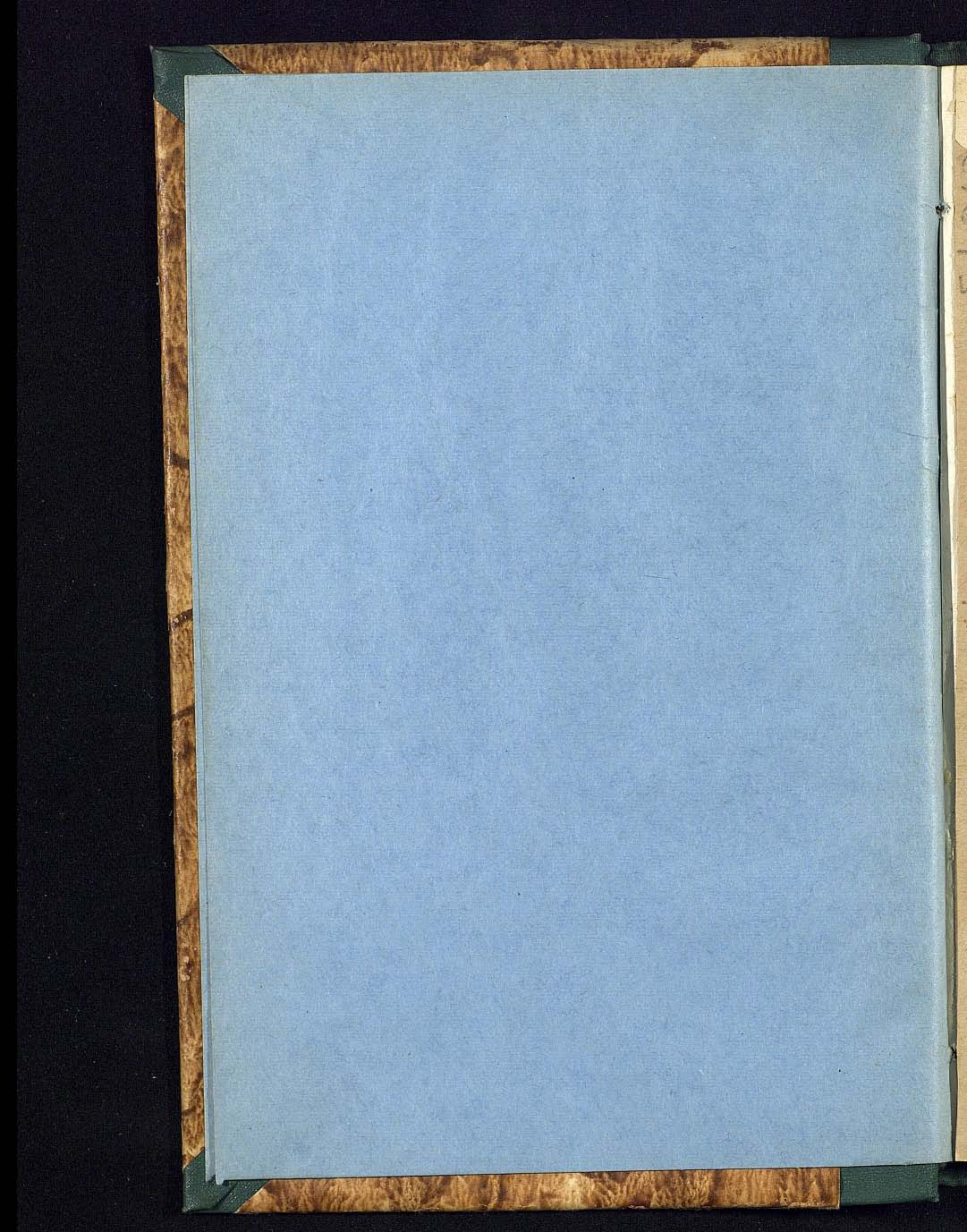


нов И Разумник




КОЛОС
ИЗД- -ВО

ИВАНОВ-РАЗУМНИК

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

1916—1917 г.

ПЕТРОГРАД,
«КОЛОС»
1923



Главлит № 5529. Тир. 2000.

Гос. тип. им. тов. Зиновьева. Петроград, Социал., 14.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Перед грозой . . . 9

Деревенское:

I. „Меню“ . . . 13
II. Бабье дело . . . 16
III. Лошадиный разговор . . . 20
IV. „Кальер“ . . . 25
V. Газетный день . . . 30
VI. Натуральная брага . . . 35
VII. Телячий дух . . . 40
VIII. Толокà . . . 45
IX. Кому на Руси жить хорошо . . . 51
X. Итоги . . . 57

На берегах Невы:

I. „Сезон“ . . . 65
II. „Романтики“ . . . 68
III. Притча про пчелок . . . 76
IV. Неделя о Толстом . . . 82
V. „Мир Искусства“ . . . 86
VI. Всероссийское . . . 90
VII. Савлы и Павлы . . . 96
VIII. Чествование . . . 101
IX. Обывательщина . . . 105
X. Нечто о галстуке . . . 108
XI. Собака на заборе . . . 111
XII. Овсяный кисель . . . 122
XIII. Маскарад . . . 127

27 февраля 1917 года . . . 131

ПЕРЕД ГРОЗОЙ.

Летом 1916 года революция еще не созрела, но война в душе русского народа была уже бесповоротно надломлена. А так как все не закрывавшие глаз видели, что из огня войны родится пламя революции, то невольно деревенские впечатления лета 1916 года передают настроения зарниц революции. Только имя ей на образном новгородском языке—иное: „всеобщая толока".

Городские, петербургские впечатления последующей зимы дополняют и оттеняют деревенские впечатления лета. Там, в глубинном земельном пласту—сознание неизбежности громадного сдвига, ожидание небывалого перелома. Здесь, в „культурном" городском слое, в „интеллигентских" кругах литературы, искусства, общественности—полное непонимание исторического часа, запах гнили и тления.

Эта книга моя—деревенский и городской дневник, печатавшийся на газетных столбцах („Русских Ведомостей") из недели в неделю летом и зимою предреволюционного года. И если я соединяю теперь эти разрозненные листки, то, конечно, только потому, что считаю даже случайный материал той эпохи—материалом историческим. Ценен он не сам по себе—цену и вес придает ему предгрозовая дата: „1916—1917 год".

1922. *Иванов-Разумник.*

ДЕРЕВЕНСКОЕ

Деревенское.

I. „МЕНЮ".

Весна поздняя, лето холодное в этом году. Приезжаю в деревню—точно по осени и не выезжал из нее: по утрам чуть ли не ледяная корка в канавах, побелевшая трава шелестит и ломается под ногой. Все по-прежнему, все по-прошлому—люди, дела, разговоры первых минут. Овес сеют, „позем" вывозят, всячески „купца" честят,—все как прошлым летом. И когда я развертываю одну из дожидающихся меня газет, то и в ней встречаю—ну точь-в-точь такую самую статью, какую одолевал летом прошлого года: „Положительный национализм есть империализм, отрицательный империализм есть национализм"... Неужели же, право, так все и не сдвинулось с места за весь долгий год? Неужели и в деревне по-прежнему жуют привычные мысли и старые слова?

Прослышав о приезде, заходят в мою избу соседи, ближние и дальние. За чаем разговор живой. Что нового?

Да ничего. С прошлого лета без перемен. Разве только дорогу железную близко строят, да много скотины деревня продала, да яичко в чайной гривенник стоит, да взяли на службу пять человек с семи дворов, да деньжата завелись, да разговоры новые пошли... И скоро оказывается, что деревенское „ничего нового"— только старая присказка, в которой сначала нового

ничего, а понемногу выясняется, что конь пал, дом сгорел, и бабушка померла. За старой присказкой будет совсем новая сказка.

Начинается с мелочей. Старый приятель и знакомый, Михалмихалыч, дом себе новый ставит. Как идет дело?

Всеобщий хохот.

— Ставят дом—хромой да слепой, кривой да глухой!

— По-старинке: вора поймали, безногий за сотским побежал, безрукий вязать вора стал...

— Рабочий народ—самый дорогой теперь товар: ни по таксе, ни без таксы не укупишь. Поневоле кривых да хромых в плотники возьмешь.

Так и достраивает себе Михалмихалыч дом, по бревнышку в сутки да по три рубля на убогого плотника в день. Охает, да строит: не бросить же стройку без крыши!

Истово пьет чай у меня сосед старик, по прозвищу Сук, уже двух сыновей проводивший на войну. Принес он мне прошлым летом „поэму" о своем наболевшем, деревенском, коряво написанную карандашом на серой бумаге. Отрывной календарь на стене возмущал его каждодневно. „Меню на 25-е июля: ботвинья с белорыбицей, рябчики молодые, пунш-глясе"... И Сук выводил коряво:

„...Календарь гласит: „меню"!
А мы жуем хлебную окрошку,
Да и ту понемножку,—
Тоже „меню"!

Поэма была длинная.

— Что, дядя Сук, каково нынешний год „меню"?

Старик глядит лукаво и гладит седую бороду.

— Меню нынче, нельзя Бога гневить, не плохое. Яйца, масло, молоко—прошлым годом все продавали, нынче все приедаем сами. Слава Богу, меню нынче сытное, календарное...

И начинает мне рассказывать, как на постройке железной дороги плохая семья за зиму рублей с полтыщи не заработала, да и теперь все работают,—на человека „по трешке“ в день. Рассказывает, как дорогу проводили, как первым делом лазарет поставили, „дорога—буграми, то вверх, то вниз, народ рабочий и сыпется с площадок, что горох“... Про многое еще рассказывает и возвращается к главному: сытно нынче живет народ, „хо-орошее нынче меню“, живут сытно...

— Богато?

— Зачем богато? Тебе говорят—сытно.

— Так разве это не все-равно?

— Все равно, что полено, что бревно,—это только пьяный говорил, когда печь в избе бревном разворотил, вместо полена в печь подкладывал.

Сначала не понимаю. Сам же рассказывает, что семья по нескольку сот рублей за зиму зарабатывала, что „народ—дорогой товар“, что деньги нынче у всех в деревне завелись...

— Слушай, дядя Сук, да ведь богаче стал народ?

— Народ-то? А кто тебе это сказал? Вовсе обеднел народ, надо сказать прямо...

— Не понимаю, право не понимаю...

— Где же такое сразу понять! А ты поживи, приглядись, и не такое поймешь!

Тем наш разговор и кончился. Живу, приглядываюсь,—конечно, прав Сук, и загадка его совсем не мудреная. Денег много в деревне завелось—это верно, обеднела деревня—тоже верно; стоит поближе подойти чуть ли не к любой деревенской семье, чтобы это увидеть. Об этом, однако—в другой раз. Живу, приглядываюсь,—прав Сук, начинаю понимать „и не такое“. Ничего нового в деревне—только и конь пал, и дом сгорел, и бабушка померла... И не одно плохое, но и хорошее новое: и живут „сытно“, и дом новый строят...

...не тот только дом, который ставит себе чудак Михалмихалыч.

А встречаясь теперь с Суком, обмениваюсь с ним привычным вступительным приветствием:

— Ну, что, как „меню"?

— Меню-то? Ничего, меню нынче хорошее, календарное нынче меню...

Май 1916 г.

II. БАБЬЕ ДЕЛО.

Деревнюшка наша маленькая: „десять дворов, пол-ста едоков, да пол-ста скотов", по двусмысленно-ядовитой деревенской поговорке. Но и без всякой двусмысленности поговорка эта доселе верно выражала вывод из „статистического исследования" нашей не бедной деревеньки: по две лошади, по три-четыре коровы на двор—обычное наше хозяйство.

Иду по деревне, разговариваю со встречными знакомыми, решаю задачу дяди Сука. „Деньги у мужика завелись"—и „обеднел вовсе народ". Как так? В чем тут дело? Что под этим понимает Сук?

Деревенские рассуждения—почти всегда неопровержимы; мало-по-малу зарождаются они и туго вертятся в разных углах, в разных умах, сталкиваются, отбрасываются, соединяются и потом уже проявляются „намиру", как „истины общеобязательные". Так вот и эта последняя деревенская политико-экономическая истина о богатстве и бедности народа: деньги завелись — и народ обеднел, деньги — не богатство... Почему и как стало это ясно для деревни?

Уже после первых разговоров разгадываю загадку старика.

— Как справляешься, Пелагея?

Пелагея мужа на войну проводила и принялась по-бабьему упористо за хозяйство. Дети маленькие, помощи настоящей нет, а живет теперь лучше, чем раньше жила, деньги даже немалые завелись, слывет по деревне „богачкой".

— Справляюсь-то? Ничего, справляюсь, спасибо. Вот только сеять мужики подсобили, тут бабьего нашего маху не хватает, а то и пахала сама, вот и бороню теперь сама. Ничего, справляюсь! Позем (навоз) ребятенки вывезли; не много его, позему-то, нынешний год. Коровушек двух продала, лошадку, продала—не управиться было мне; а теперь ничего, справляюсь, дай Бог дальше...

Иду на поля, где бабы боронят черные от дождя полосы. Останавливаемся и обмениваемся обычным приветствием:

— Бог в помощь!

— Спасибо на Божьей помощи!

Минутный отдых и разговоры. Бабы расспрашивают меня о городских новостях—о ценах на крупы, сахар, керосин, ситец, а я их—о делах деревенских. Взаимно удивляемся: легко ли, сапоги в городе — сорок рублей! В лавке нашего деревенского Расторгуева сахар—полтина фунт! По этому случаю, — рассказывают мне, — даже старую частушку поют теперь на новый лад:

До чего народ доходит—
По полтине сахар ходит!
До того-ль еще дойдет:
По полтине соль пойдет!

Что же, от границ неправдоподобия мы отучились за последние два года!

Задаю бабам прежний вопрос: как справляетесь? Почти все — ничего, справляются. Места не очень хлебородные, земли мало, а значит и недосеву нет: явная польза малоземелья!.. Да к тому же со всякого двора



по осени продана „для справы“ почти половина скота: и корм дорог, и рук в семье меньше стало—ни деньгами, ни руками не управиться.

— Почем же продавали?

— А продавали по-разному; о Рождество наезжали скупщики, по сто рублей за корову давали.

— А если теперь самим покупать придется?

— Что-ж, наше дело известное: продавал купцу по осени мужик ржицу, кланялся—хоть по целковому дай; покупал у купца по зиме мужик ту же ржицу, кланялся—хоть по два целковых продай...

Смеются.

— Так и с коровами дело выйдет, когда опять покупать будете?

— А покупать — не миновать. Потому ты посмотри на полосы-то: позему много ли видать? На нашей земле с одной коровенкой да одной лошаденкой не много хлеба соберешь.

— Покупать—не миновать. Да продавали-то мы по сту, а покупать придется не по четыре ли ста?

Пожалуй, что так и выйдет. Смотрю на поля: еще незапаханный позем лежит редкими буграми. Вот Пелагеина полоса, всегда круто усыпанная этими буграми, еле покрыта теперь поземом наполовину с сухими снопами не перегнившей соломы. Покупать скот — не миновать.

Так почти у всех, во всех деревнях округи. Стада уменьшились наполовину; длинные, рыже-пестрые ленты коров и овец тянулись прошлым летом по деревенским прогонам; половину этой ленты,—каждый день на глаз из окна мне видно,—точно кто-то обрезал теперь громадными ножницами. Говорю это бабам. Соглашаются.

— Ножницы, это верно, да стригли-то нам по сто рублей, а новое не пришьешь и за двести.

— Война, что ножницы: обстригет и скота и человека.

Иду домой и думаю, что с бабьей помогой разгадал я загадку нашего деревенского Адама Смита о богатстве народа... Живут „сытно“, „деньги завелись“, а „народ обеднел“,—верно, ибо народ никогда не отделяет себя от „земли“ и видит, что „земля“ стала беднее. А если денег у семьи завелось или прибавилось на триста рублей, а хозяйственный капитал уменьшился рублей на шестьсот, то как велико увеличение народного богатства? Задача на отрицательные числа для гимназиста III класса.

На крутом речном кряжу встречаю Адама Смита: идет с удочкой наловить „на ушицу“, для пополнения своего „меню“.

— А что, дядя Сук, ведь задача твоя не мудреная.

— Ну? Ты расскажи, я послушаю.

— Вот видишь стадо деревенское у реки? Раньше было его „на десять дворов пол-ста скотов“, а теперь половины прежнего не насчитаешь,—продали, деньги в кассу снесли. Да продали за сто, стоит он теперь двести, а „покупать—не миновать“, да покупать будете „не по четыре ли ста“?

— Верный твой разговор, да не до конца,—решил дядя Сук.—А до конца говорить, надо так сказать: мужик богаче стал, земля—вдвое против того беднее. А решил-то ты загадку без помоги?

— Где уж, дядя Сук, такое „без помоги“ решить! Бабы помогли.

— Бабы? Это, брат, ты верный путь взял! Баба нынче у нас—губернатор баба пошла! Все дойдет, все поймет, все справит, без мужика обойдется! Бабье дело теперь—ходовое дело. Бабе теперь война большую волю дала.

— Так разве это худо?

— А я тебе говорю, что худо? По бабе глядя! Вот был я весною в губернии, зашел в канцелярию по делу, поглядел на ихние дела. Не дела, а сказать просто—

лапти. И о чем плетут-то? Не смей-де ты Сук перевозить через реку овес да телят, это-де другой уезд. Поглядел я, поглядел. Эх,—думаю,—пастухов-то, пастухов сколько собравши! Одного нашего Митьки пастуха не хватает. Так вот, брат, мне таких пастухов, хоть в штанах, хоть без штанов—нипочем не надобно! А баба нынче, а дело бабье нынче...

И пошел, и пошел у нас разговор о „феминизме", говоря по-городски, или, говоря по-деревенски—„про дело бабье"...

Май.

III. ЛОШАДИНЫЙ РАЗГОВОР.

Встречаю на деревенской улице соседа: идет с маленьким пакетиком в руках и шумно бранится самыми жестокими словами.

— Кого это ты так?

— Да все его же, мазурика пузатого! — сердито (точно и я в чем-то виноват) отвечает, не глядя на меня, сосед.

„Мазурика пузатого",—значит речь идет о нашем деревенском Расторгуеве, которого побывавший в Москве дядя Сук зовет не иначе, как „Миримирилиз"... Деревенская лавка—действительно „универсальный магазин": мыло, нитки, сахар, деготь, гвозди, мука, лампы, конфекты, перец,—все отделения, от парфюмерного до колониального. Чем же не „Мюр и Мерилиз"!

— Мазурик он—дело возможное, да почему же „пузатый"?—пытаюсь я посильно, хотя и неудачно, защитить деревенского „Миримирилиза".

— А пуза нет, так отрастит еще!—сердито возражает непреклонный сосед.—Кошельное-то пузо нажил уже, небось! Идешь к нему в лавку, возьмешь для

промена десятку, мало-мало купишь, по карманам разложишь, в руке свертышек несешь,—ау, десятка! Ищешь: не потерял ли промена по дороге? Вот, пожалуйте: фунтик сахарцу-с. Полтина! Говорю ему: А фунтиков пяти не найдется? Говорит мне: Как не найтись, только тогда выкладывай за все три с полтиной! А? Ну, как же не ругать его, мазурика? Стал я ругать его, многими словами ругал, а ему хоть бы что! Ухмыляется да по-лошадиному отвечает!

— Как по-лошадиному?!

— А так; будто не знаешь, как он на лошадином языке разговаривает?

И сосед, совсем сердитый теперь уже на мою непонятливость, прошел к своей избе, размахивая „свертышком сахарцу", а я направился к Миримирилизу, заинтересованный новым явлением в области коммерческой арифметики: „фунт—полтина, пять фунтов—три с полтиной"... С каких это пор товар продают „оптом" в полтора раза дороже, чем „в розницу"?

В лавке прохладно, густо пахнет кожами и сладкой гнилью; деревенский купец, ражий и рыжий мужик, пьет чай вприкуску с огрызком сахара. Здороваемся.

— Что, сахар, видно, не весь вышел?—спрашиваю я.

— Для вас найдется-с,—с готовностью заявляет Миримирилиз.

— Фунт—по полтине, пять фунтов—по семи гривен?—прямо ставлю я острый вопрос.

— Мгм-с!—неопределенно отвечает слегка опешивший купец, но тотчас-же и подтверждает:—а пять фунтов—по семи гривен, это точно.

И как это мог я забыть! Ведь наш купец, вероятно, единственный во всей России человек, который даже и к „гм" прибавляет „слово-ерик"! Гмыкнет, да еще и непременно „слово-ер" прибавит,—ну, конечно же, лошадиный язык! „Мгм-с!" Такие слова, вероятно, произносил Гулливер, когда попал в лошадиное царство Гуингмов.

— Значит, оптом дороже, чем в розницу?—продолжаю спрашивать я.

— Мгм-с!

— Как же это так выходит, растолкуйте?

— Так уж и выходит-с. Потому, фунт—цену ему я знаю, по всей округе его сегодня продают за полтину.

— А завтра?

— А завтра ему цена, может, будет уже восемь гривен! Так зачем же мне помногу-то дешево продавать? Надо же и мне на будущее-то застраховаться!

„Дешево"... Широка русская натура, а купеческая—вдвое того!

— Значит, „оптом—дороже", это—страховка на будущее?

— Мгм-с!

— А по совести ли будет такая страховка? Ведь куплен-то сахар, пожалуй, и по четвертаку?

— Мгм-с!

К совести или к четвертаку относится последний ответ—не знаю; лошадиный язык можно толковать поразному, и „междометие со слово-ериком" имеет у нашего купца любое значение, смотря по интонации. На мои расспросы и укоры Миримирилиз отвечает вяло, с явной скукой и чаще всего по-лошадиному. Ему надо „кошельное пузо" нажить—дело ясное; о чем же тут толковать?

Ухожу от Миримирилиза, не вполне удовлетворенный его лошадиным разговором, но вполне убежденный, что он—яркий представитель сотен и тысяч таких же, малых и больших, деревенских и городских Миримирилизов. А потом думаю: ежели в торговом деле нельзя быть без „страховки на будущее", то, быть-может, все они еще благодетелями себя считают, страхуя свои будущие доходы так скромно: а вдруг сахар будет завтра и впрямь по восемь гривен фунт? „До того-ль еще дойдет: по полтине соль пойдет!"

Недалеко от лавки, в тени деревьев, сидят, лениво беседуя, несколько знакомых мужиков и прохожих косцов,—послеобеденный, предпокосный отдых.

— Что покупал у Миримирилиза? — спрашивает дядя Сук.

— Ничего не покупал; по-лошадиному разговаривал.

Прохожие косцы удивлены, наши деревенские смеются.

— Что-ж, с человеческой совестью — по-человечески, с лошадиной природой—по-лошадиному...

И рассказывают мне о разных торговых оборотах нашего Миримирилиза. Сено у нас теперь небывало дешевое: „что фунт сахару, что пуд сена — одна цена“. Время же сенокосное, бабам одним с сеном не управиться, а косцы берут по пяти рублей в день, да десятину едва втроем в день снимут, да год-то не укосный,—пожалуй со всей десятины только пудов 30—40 и возьмешь. „Вот и разочти, почем нового сена пуд обойдется: в те же пятьдесят копеечек“. Так не проще ли вместо того, чтобы косцу пять рублей в день платить, не проще ли на те же деньги десять пудов старого сена купить? Сколько дней косцу—столько десятков пудов сена...

— Как же так? а покосы нынешнего лета? Им так и пропадать?— спрашиваю я.

— Кои пропадут, кои полегоньку самосильно уберутся. Большой, конечно, убыток будет!

— Да ведь тогда к будущему году и сено, пожалуй, „по полтине фунт пойдет“?

— Вот-вот, это самое! Ты и смотри: что теперь купец стал полегонечку прикупать? Сено! Вот и наш — большие пуды накупил и еще прикупает. С сеном обернется, на другое перевернется.

— Он перевернется!—убежденно подтверждают хором соседи.

Что-то смутное припоминается мне, какие-то старые-старые впечатления. Давно стараюсь вспомнить и вдруг сразу вспоминаю старые сочетания слов, имеющие теперь совсем другой смысл. Когда-то, много лет назад, в подмосковной дачной местности ходил не-то перс, не-то болгарин, не-то черномазый орловец под болгарина, с несчастной, дрожащей обезьянкой в руках. Обезьянка кувыркалась и прыгала, а „перс“ подергивал ее за веревочку и гнусавым голосом подпевал:

Ай, д'мюримерилиз!
Ай, д'переверенись!

Обезьянка делала приказанное „перевере“, публика хохотала над двустишием, „перс“ получал щедрую мзду за свое нехитрое поэтическое творчество...

Рассказываю собеседникам о старом воспоминании. Дядя Сук в восторге:

— Это, брат, про нашего Миримирилиза! Он перевернется! Он тебе на что хочешь перевернется! Вот спасибо за стишок! Уж я купца прижучу им накрепко, не отвинтится!

— От стишка не отвинтится, а полтиной всех в деревне крепко привинтит.

— А и привинтит — не откажешься! Денег у него все больше, совести все меньше, недаром и разговаривает по-лошадиному... Только что же это будет? Неужто не промахнется купец—и впрямь зимою сено дороже овса будет?..

Дороже, конечно, не будет, но не будет и дешево, если по всей России творится то же, что и в нашей деревеньке: рук нет, снять всю траву сил не хватит, а косцов нанять — дешевле выйдет старое сено покупать. Почем же это старое сено будет на новый год? Особенно если начнут скупать его по всей России да страховать себя на будущее наши деревенские и городские Миримирилизы...

Проходя назад по деревне, вижу у дома, на завалинке, своего сердитого соседа. Он уже „почайпил“ и теперь благодушно настроен, лениво греясь на ленивом северном солнце, отдыхая перед вечерней покосной страдой.

— Ты что, никак с купцом разговаривал?—спрашивает он меня.

— Пробовал, да тугие с ним разговоры.

— Я уж тебе говорил! Ты ему—по-человеческому, он тебе—по-лошадиному; какие же тут разговоры?

Июнь.

IV. „КАЛЬЕР“.

Каждое утро мимо окон моей избы тихо и плавно течет длинный ярко-пестрый поток алых, желтых, белых, розовых кофт, с редко вкрапленной в них черной или красной рубахой. Каждый вечер поток этот стремительно и шумно течет обратно, с веселым говором, смехом и песнями. Это — идут работать „на кальер“ и возвращаются „с кальера“ по домам бабы и мужики с целой округи. „Кальером“ называют они подъездную железнодорожную ветку, по которой балластные поезда ежедневно десятками вагонов увозят песок, врезаясь все глубже и глубже в наш высокий речной кряж.

Иду и я „на кальер“. Верстах в трех от нашей деревеньки, среди примятых, стоптанных озимых полей, вот уже более полугода протянулась железная нить. Хорошо сказал Карлейль: „всякая дорога ведет на край света“. И даже проселком, даже малой тропкой мы всегда связаны со всеми концами мира; но все-таки както странно представить себе, что вот и нашу деревеньку связывает этот, хотя бы балластный, подъездной, но беспрерывный железный путь—и с Китаем, и с Парижем...

Впрочем, в Париж теперь, в лето от Рождества Христова 1916-е, по железному пути, пожалуй, не проедешь.

По привычке думать вслух, делюсь мыслями с набивающим трубку знакомым стариком из соседней деревни. В ответ на мои философические размышления он скептически сплевывает и неожиданно отвечает:

— До Парижа — уж не знаю как, это тебе виднее, а вот до губернии навряд ли доедешь.

— Как так? — удивляюсь я. „Губерния", город губернский—от нас в сорока верстах.

— А так; это уж мне виднее. Да ты сам погляди: вон под лесочком и лазарет для несчастных случаев поставлен. Погляди, погляди...

И подлинно — поглядеть есть на что. Изящной волнистой линией, то поднимающейся вверх, то падающей вниз, стоят на рельсах нагруженные песком вагоны: зрелище редкое и удивительное, после которого зато уже нисколько не удивителен ни скептицизм моего собеседника, ни вид лазарета „для несчастных случаев"... Подъездной путь строили — лишь бы как-нибудь; вот и „пошла дорога буграми, то вверх, то вниз", вот „рабочий народ и сыплется с площадок, что горох". А десятник при постройке Квасоваров подбирает зато денежки в карман.

Садимся в тени вагона, закуриваем трубки и папиросы; обеденный отдых. Разговор сразу идет по натоisær ренной колее: рассуждаем, кому и как деньги теперь в карман льются. Вот рабочий на „кальере" получает за полдня полтора рубля, за день—„трешку". Вот десятник Квасоваров подберет в день вдвое больше: того обсчитает, этого обсчитает—глядь, уж пятерка в кармане. Вот наш купец Миримирилиз обсчитывает нас другим манером, подвинчивает, что ни день, цену на товар—верная десятка в день прибыли. Так и идет все дальше да больше, дальше да больше...

— Ручейки в речки, речки в озера, озера в реки, реки в море,—задумчиво говорит старик, посасывая трубку,—не нами так началось, не нами и кончится. А только будто уж по половодному бегут деньги-то нынче.

— Воды много—вода бежит, деньги много — деньга бежит,—отвечает кто-то поговоркою из-за колеса вагона,—а деньга теперь—шальная, беглая. И куда она только девается?

Я вспоминаю заметку в только что прочитанной газете: „За минувший июнь прирост денежных вкладов в государственные сберегательные кассы достиг еще непревзойденных размеров, а именно свыше 161 милл. руб., что свидетельствует о громадном избытке денежных средств в массах населения“.

— Избыток, это верно,—соглашаются слушатели,—только этот избыток не обернется ли нам в убыток?

Уже искушенный мудростью деревенских Адамов Смитов, я не выражаю удивления; „избыток обернется в убыток“,—ведь это другими словами и значит, что „мужик стал богаче, земля—вдвое беднее“. Но все-таки спрашиваю собеседников:

— Каким же путем избыток да вдруг превратится в убыток?

— Каким путем-то?—говорит старик с трубкой.—Да вот кальером.

— Как „кальером“?

— А так. Ты рассуди: почему тут кальер? От войны. Почему деньга половодная? Война деньгу гонит. Войне конец—и кальеру конец, и деньгам конец; сухое время придет, из сберегательных назад народ потащит. Как вот тогда жить будем?

Как жить будем после войны—об этом уже теперь в деревне думают не меньше, чем в городе, и уж наверное больше, чем среди аграриев Государственного Совета или среди большинства Государственной Думы. Деревенская мысль уже давно—царевич Гвидон в бочке

с железными обручами; а среднему горожанину все еще как-то не верится, что деревня ставит и по-своему решает самые острые вопросы современности,—вопросы социальные, религиозные, политические.

Социальные теории, утопии—все это всегда в крестьянских избах строилось чаще и упорнее, чем в кабинете ученого. Вот и теперь „на кальере“ собеседники развивают один за другим свои социальные планы, решают судьбы России: как наладить жизнь после войны? Планы—реальные, фантастические, возможные и несуразные; многие из них—и самые интересные—выходят за пределы цензурной досягаемости, о них не расскажешь. А вот один из вполне „цензурных“ социальных планов, который мы обсуждаем „на кальере“.

— Как-то жить будем?—задумчиво повторяет старик, раскуривая потухшую „полукрупку“. — Война деньгу гонит, а за войну платить—после войны. За войну, брат ты мой, внуки платить будут. А ну, смекни, сколько платить придется?

Называю приблизительную сумму „внешних и внутренних займов“, называю и сумму предполагаемых ежегодных процентов по ним.

— Ну, вот видишь ли! Где же этакий узел да одною податью раскрутить? Да и пóдать—что веревка: как веревку ни вить, а все до конца надо доходить. А ты вот скажи мне лучше, много ли у нас всего вон этого?

Он хлопает ладонью по ржавому рельсу.

Отвечаю с грубым приближением, что „всего вон этого“ в России верст тысяч пятьдесят.

— Вот видишь ты! Значит, станций мало-мало тысячи две наберется?

— Может и больше.

— Так. Теперь сочти: народу-то сколько содержит мужик при дороге? Сторожа разные, кондуктора, рабочие, машинисты, начальники. Сколько будет такого народу?

Долго подсчитываем, соображаем и решаем, наконец, что „такого народу“ наберется, пожалуй, тысяч с двести. Потом подсчитываем их „жалованье“ и щедро даем им всем ежегодно несколько сот миллионов рублей.

— Экая уйма деньжищ-то! Ну, а если всем им ничего не давать — вот тебе каждый год и прибыль будет!

— Как ничего не давать!?

— А так и ничего. Сделать так: что солдатская служба, то и дорожная служба.

— Обязательная государственная железнодорожная повинность!

— Вот-вот, оно самое! Эх, какие слова человек выговаривает!—иронически удивляется собеседник.

И мы продолжаем в подробностях обсуждать этот социальный проект, очевидно, давно уже обдуманный и разработанный его автором. Слушатели подхватывают мысль, нащупывают пути, принимают деятельное участие в разработке проекта. А в десяти шагах проходит начальство,—господин десятник Квасоваров,—и не подозревает, что за его спиной деревенщина занимается в минуты отдыха развитием идей государственного социализма...

— Вот, значит, и после войны можно путь сыскать,— „резюмирует прения“ старик и сует докуренную, еще горячую трубку за голенище.—А подати—самое это легкое дело и самое оно пустое: воду с надсадой из ручейков выкачаешь и поля обезводишь. Нет, коли засуха, так не ручейкам платиться дождиком, а морям да озерам! А коли глупость, так и платись, кто в ней виноват! А путь, брат ты мой, сыскать всегда можно. Вон, гляди: от одних дорожных дел экую уйму денег мы с тобою сообразили! Да одно ли это дело! Мало ли их! Подсчитай все—вот и выйдет, что ежели с умом, так и без внуков обойдемся.

— А с глупостью и правнуки не помогут!—философски заключил кто-то разговор, и все разошлись по гудку паровоза к своим лопатам.

А я сижу и смотрю, как платформы и вагоны понемногу наполняются песком, как суетится и шумит начальство, как, наконец, изящная волнистая линия вагонов трогается и описывает причудливые кривые. Поезд идет с „кальера“ и скрывается за леском, возле лазарета „для несчастных случаев“. Я смотрю вслед и думаю, что подлинно всякая дорога ведет на край света. С деревенского „кальера“ можно незаметно доехать до будущего устройства России и ее судеб.

Июнь.

V. ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ.

Деревенский почтарь наш, — парень несуразный, косноязычный, неграмотный, но в почтарском деле своем незаменимый,—раза два - три в неделю меряет длинными журавлиными шагами тридцативерстный путь от нашей деревни до почтовой станции и обратно. Приносит сразу тюк газет и писем, уголки писем надрывает и откусывает,—таинственные его пометки, чтобы он, неграмотный почтарь, мог верно раздать письма неграмотным получателям; благополучно раздает все же нашу почту в соседних деревнях, чужую приносит нам, иной раз ходит совершать обмен, а чаще всего и так дело обходится. Так ведь и по всей деревенской России „обходится дело“.

Газету получаем во всей нашей деревеньке только я да купец наш, Миримирилиз. Мое дело—читательское, его дело—купеческое, и без газеты ему никак невозможно: ему надо знать увеличивающиеся городские цены, чтобы немедленно увеличить свои вдвое. А затем

газету он читает в лавке своей вслух, со слушателей берет некую мзду; глядишь—к концу года газета себя почти что и „оправдала“.

Среда—главный „газетный день“. Получаю пачку разных газет, читаю их при вечереющем свете на крылечке своей избы. Так чужды и далеки от деревенских настроений и интересов многие известия и статьи, что пробегаешь их глазами, не зацепляясь за них мыслями. И, конечно, наоборот: мимо чего равнодушно проходит городской читатель, за то деревенский зацепляется „всею шестерней“.

Как на огонек, подходят к моему крылечку „на газету“ соседи; читаем и обсуждаем. Военные телеграммы читаются мною и комментируются соседями необычно для горожанина: не с точки зрения военной, специальной, а с тоски зрения социальной... Этого, впрочем, не расскажешь. Сообщение, что-де Румыния вмешается в войну только после уборки хлебов, вызывает, конечно, ряд замечаний вполне деревенского характера. Два громадных столбца телеграмм бульварной газеты о пожаре дворца греческого короля слушаются с явной скукой; только цифра ста погибших в пожаре солдат вызывает сочувствие и вопрос: „А ведь, поди,—мужики они, солдаты тамошние?“ Но тут же со вниманием и болью слушается мелкое известие из хроники о ливне в далеком приволжском городе, об унесенном этим ливнем в реку мальчике. Один этот мальчик перевешивает сто греческих солдат.

И я вспоминаю, как читал слушателям в деревне,—давно это было, больше десяти лет тому назад, — о циклоне, смахнувшем с лица земли чуть не два города в Америке, и об урагане в Москве, о гибели в подмосковных деревнях людей и скота. Какое волнение, каки бабьи слезы (и мужики плакали!) от урагана, какие сухие аханья—от циклона. И с тех пор для меня эта разница между московским ураганом и американским

циклоном—подлинный „символ“, им многое объясняется,—объясняется даже современная мировая война...

Читаю соседям газету, и на одном мелком известии из хроники мы „зацепляемся“. Какое-то небольшое департаментское светило в одном из многочисленных „особых совещаний“, первого сего июля произнесло „с большим подъемом“ речь на тему о причинах современных продовольственных затруднений, о том, почему по всей России стоят теперь „хвосты“ при покупке хотя бы крупчатки.

„Это явление,—читаю я соседям речь столичного оратора,—объясняется не отсутствием муки, которой много в России, а происшедшим в нащем населении каким-то переворотом. Наше население перешло не на худшее, а на лучшее потребление; крупчатка, которая ранее потреблялась очень немногими классами населения, теперь потребляется всеми, непременно дайте всем крупчатку... Ведь установлено, что вторые сорта муки достаточно питательны, куда же их девать? Не успевают приготовить первые сорта, а вторые лежат. Вот чем объясняются хвосты, а муки очень много. Кончится война, тогда забудут черный хлеб, и все станут есть пироги из крупчатки. А теперь, право, не время этому“...

Горожанин прочел, улыбнулся и проследовал дальше; деревенские зацепляются всею шестерней за эту подлинно изумительную речь.

Минутное молчание.

— Тонко рассудил!—одобряют слушатели.

— Голова с затылком!—восхищается сосед справа.

— Прямой благотворитель! — поддерживает сосед слева.—И ведь сам он, поди, года два уж ни разу не съел пирога крупичатого, все ел хлебушко ржаной...

— Не иначе, что так!

— Благотворитель, одно слово! Вроде как наш Миримирилиз. Захожу к нему вчера в лавку нитки обменить,—совсем подмоклые, гнилые продал моей хозяйке.

Говорит мне: „Не могу обменить, нитка правильная, только что второй сорт".—„Так первый дай".—„А первого нет, для тебя и второй хорош".—„Да вон хозяйка твоя портки тебе шьет,—неужели-ж гнилой ниткой?"—„А я, говорит, тебе не пример, и ты в мои штаны носом своим не суйся!".

Общий хохот.

— Вот и к тому благотворителю, к пирогу его крупичатому своим ртом не суйся!—заканчивает назидательно сосед и прибавляет: — а поет сладко: все-де вы ребятушки, после войны будете есть одни пироги, про ржаной хлеб позабудете!

— Хорошо поет теперь, где-то потом сядет!

Долго еще комментируют соседи речь департаментского светила, а я, по привычке сравнивать старое с новым, вспоминаю тем временем про другое, тоже благотворительное светило. Всплывает в памяти одно из незабываемых впечатлений минувших годов. Встреча Нового Года в богатом доме, с дорогими конфектами и фруктами, с шампанским. Среди встречающих — один, ныне давно покойный, а тогда довольно известный профессор, член многих благотворительных организаций. Он вкусно ел дорогие конфекты и собирал бумажки от них, брал у соседей, аккуратно складывал пополам и размещал по карманам. На недоуменный взгляд мой ясно и светло ответил, что бумажки от конфект он всегда собирает и отдает их детям-сиротам в приют, во главе которого он состоит. Каюсь в стыдном поступке: я тогда не высказал вслух ученому благотворителю моего искреннего мнения о нем...

Делюсь, как всегда, с собеседниками внезапно всплывшим воспоминанием. Выводов и сопоставлений никогда не делаю, да и не успеваю сделать: собеседники и на этот раз, как всегда, подхватывают их сами.

— Вот-вот! В самую точку! Конфекту съест, бумажкой облаготворит!

— Много мужик получил бумажек этих!

И по правде сказать: что, как не бумажка от съеденной конфекты, это изумительное заявление (или тонкая ирония?), что после войны „забудут черный хлеб и все станут есть пироги из крупчатки“! Деревня смотрит дальше и понимает лучше, чем департаментский чиновник; она понимает, что после войны массы населения, наоборот, забудут крупчатку и перейдут все на черный хлеб. Чиновник в одном прав: во время войны в массах „произошел какой-то переворот“,—и конь пал, и дом сгорел, и бабушка померла... Началась какая-то новая жизнь —и началась действительно с того, что население „перешло не на худшее, а на лучшее потребление“. Почему это случилось —даже в деревне достаточно разъяснили себе деревенские Адамы Смиты; но сами они как нельзя лучше понимают, что народ „живет сытно“ только теперь, во время войны, когда „деньга полободная бежит“, а „войне конец—и деньгам конец, сухое время придет“. Как перейдет тогда народ „с лучшего потребления на худшее“, это видно будет; но зачем же теперь департаментские Мальтусы произносят „с большим подъемом“ речи о реках молочных и берегах кисельных после войны!

Долго мы еще беседуем об этом на крылечке, пробуем читать дальше газету в наступающих сумерках, но уже не с прежним интересом: всей шестерней мы крепко зацепились за „речь с подъемом“ и за крупичатый пирог департаментского Мальтуса.

— Время нету чиновнику-то деревенское дело до корня раскумекать,—извиняет на прощанье столичного оратора мой сосед справа, тертый калач.

— Почему времени нет? Было бы желание да умение.

— Это само собой, а время нету—особь статья. Говорят у нас так: приехал в свою деревню на побывку сторож министерский. „Ну,—спрашивают его,—какое

вое начальство, и чем занято, и как живет?“—„Начальство мое,—говорит,—швейцар, чиновники да министр, живут они чисто, а потому и заняты немало“. — „Как так?“—„А так. Швейцар два раза в день одевается да раздевается“.—„А которые повыше его?“—„А чиновники, поди, раз по пять в день все раздеваются да одеваются“...—„Ну, а министр?“—„А министра я мало видал, тому и вовсе время нет: с утра до ночи ему все скидавать да одевать, скидавать да одевать“...

Снова общий хохот. Смеюсь и я, хотя, кажется, где-то уже слышал этот анекдот... Соседи прощаются и расходятся после чтения газеты каждый к своему огоньку. Деревня еще умеет смеяться,—это хорошо.

„Деньга теперь поло善водная“, денег в деревне много, живут сытно, крупичатые пироги едят,—все это так; но тут же постоянное глубокое сознание оскудения, обеднения. Скажется оскудение только после войны, и никаким обещанием всеобщих крупичатых пирогов не рассеять этого деревенского сознания.

Июль.

VI. НАТУРАЛЬНАЯ БРАГА.

В деревенской тишине легко думается о прошлом, гадается о будущем. Сравниваешь прошлое с настоящим — и диву даешься: какой путь совершила деревня за последние десять-пятнадцать лет. Помню, в глухой деревне и вместе с деревней прожил я тысяча девятьсот третий, четвертый и пятый годы; с тех пор (всегда приходит на ум это сравнение) словно царевич Гвидон в туго стянутой железными обручами бочке, росла деревня не по дням, а по часам. Особенно — за два последние года мировой войны...

В чем выразился этот рост? Кооперативы, кредитные товарищества? Конечно, конечно, мы на этом пути

далеко шагнули в десять лет. Но я говорю о другом пути, внутреннем; он выражается, пожалуй, ярче всего в вере в себя, в свои, а не в чужие силы. В стороннего „благотворителя“ деревня верит все меньше и меньше, в свои силы—все больше и больше. Когда-нибудь „деревенский наблюдатель“ расскажет, при более благоприятных условиях, как и почему в два-три года для деревни—

...былой Ковчег Завета
Стал просто—дерево и медь...

А ведь впереди, несомненно, еще более быстрое движение по этому пути.

Но есть одна, пожалуй, единственная точка, в которой деревня не верит в свои силы, а надеется только на чужие. Правда, „точка“ эта—громадная, еще не затянувшаяся рана на теле деревни; имя ее—„казенка“, и залечить эту рану, если вновь она откроется, деревня—чувствует сама—бессильна.

— Что, если казенку откроют?—спрашиваю как-то моего соседа, греясь на завалинке перед его избой.

— Сопьемся,—кратко отвечает сосед и продолжает свою работу: чинит продранную сеть.

Сосед мой—чудесный, „душевный“ мужик, немного с хитрецой, немного с простотой; есть в нем кое-что от „Ивана-Дурака“, а кое-что — и от хитрого цыгана. Вот уже два года, как он каждый день трезв; до войны при „казенке“, был он что ни день пьян. Был ободран и нищ; теперь—„справный“ мужик.

— Ловил я сетью двадцать лет, а зачинить все было, по пьяному делу, недосуг,—рассуждает сам с собой сосед.—К концу уж одну воду ловил, рыбьего хвоста не видал: тут, глядишь, дыра, там, глядишь, дыра. Вот теперь два года чиню, тем и держится, а не то—не сеть, а одна дыра будет, рыбье удобство.

Неожиданно заключает:

— Водка, братец мой, бо-ольшие дыры во мне поделала! Два года чинюсь, да ведь двадцать лет пил. Тем и держусь, что водки нет; да разве я один? Казенку открыть—одна дыра останется, все в нее проскочим.

— Да ведь все и без того пьют! Не водку, так бражку.

— Все, да не все. Я так тебе скажу: кто водку раньше пил, тот на бражку теперь и не глядит: жидко! А кто тогда водки не пил, тому теперь пьяная бражка по вкусу.

Соображение неожиданное, но наблюдение, кажется, верное. Мы перебираем десятки знакомых имен. Трезвый был мужик Сиромахин,—ныне бражкой пошаливает. Авдей, парнишка Бабылушин (не подумайте, что фамилия; это значит у нас: бабы Луши сын) прежде водкой заливался, теперь разве для компании бражки выпьет. И еще, и еще; перебираем соседние деревни и решаем, что установили общее правило: чем больше мужик водки пил, тем меньше бражки пьет... Есть, конечно, исключения; но ведь на то и правило.

К нам неожиданно подсаживается незнакомый мне мужиченка, нетвердо шагавший вдоль дороги прямо к нашей завалинке. Он весел и развязен.

— Наслышан я,—говорит он, помахивая картузом,—что живет здесь человек толковый, умный; верно-ли,—извините, не знаю, а только пришел я к вашей милости за советом.

— Пришел за советом, а нагрузился без совести,—недружелюбно замечает сосед, отодвигаясь. В голосе его я, к сожалению, улавливаю ноту зависти к „нагрузившемуся" гостю.

— Выпил я, это верно,—охотно соглашается гость,—но разговор держать могу: в ноги—ударило, голову—прояснило. Крута бражка у солдатки Магдалины!

„Разговор держать" он может; и, подлинно, начинается разговор двух знатоков, двух авторитетов: один—

авторитет по „красным и белым головкам“ казенного вина; другой—знаток всех окрестных самодельных пьяных пойл. Я слушаю и поучаюсь. Пойл этих резвелось несть числа: в каждой деревне, если не сказать—в каждой избе. Вот и в нашей десятидворной деревушке варится „бражка“ в трех домах,—и для себя, и для продажи. Сторожиха Дарья варит бражку горькую, не иначе, что с табаком: на четверть квасу—горсть хмеля да четвертка „полукрупки“. Бобылка Луша варит бражку крутую: не-то с политурой, не-то с „горючим спиртом“; и откуда берет? Лавочник Миримирилиз варит бражку легкую: на дрожжах, да на хмелю; с двух бутылок весел станешь, с трех—криво по улице пойдешь. „Да, влей-ка ты в себя три бутылки пойла коровьего“,—иронически заявляет при этом мой сосед, сторонник „красной головки“. Гость стоит за „пойло“; постепенно воодушевляясь, рассказывает он, как в одну бражку прибавляется политура, в другую—„горючий спирт“; это—дорогие бражки: „горючий спирт“ достать трудно, и цена ему—пять-восемь рублей бутылка. А все другие бражки—цена им небольшая и всюду твердая: бутылка сорок копеек.

Воодушевленный разговорами о бражке, мужиченка внезапно срывается, забыв о нужном ему „совете“, и шагает куда-то нетвердыми шагами,—вероятно, вкусить еще где-нибудь сладостного напитка. Сосед мой провожает его иронически-завистливым взглядом.

— И принимает же душа его пойло этакое,—меланхолически замечает он, складывая зачиненную сеть, и вдруг спрашивает меня:—а сам-то ты пробовал?

— Не приходилось.

— Ну, так пойдем! Сам я пить не пью, а тебя по всем брагам проведу.

Решаюсь пойти „по всем брагам“ и испробовать хотя бы „легкую“ бражку Миримирилиза. Бражка оказывается горьковатым кваском, бурлит и пенится от

дрожжей; соглашаюсь с соседом, что это подлинно изрядное пойло; выпить бутылки две не всякий сумеет. У сторожихи Дарьи не решаюсь вкусить „табачную наливку“, которую мне иронически рекомендует сосед. Заходим, наконец, к бабе Луше; у нее, по уверению соседа,—„натуральная брага“. Мне наливают стаканчик; успокоенный названием, я делаю глоток и остаюсь „безгласен, нем и недвижим“. А немного придя в себя и переведя дух, сердито спрашиваю: какая же это натуральная брага?

— А натуральная,—как-будто и без малейшего лукавства, спокойно подтверждает сосед,—натуральная. Нынче не везде ее и найдешь; достать у нас натурат—дело не легкое.

Так испил я неожиданно, под названием деревенской „натуральной браги“ самую жестокую городскую „ханжу“ из денатурата... Еще немного храбрости и, испробовав „табачную наливку“ сторожихи, я буду на опыте знать, чем отравляет себя деревня.

Вечером заходят ко мне соседи, посмеиваются над моим неудачным опытом, вспоминают о былой „красной головке“. Но интересно: о былом вспоминают со смаком, а о будущем думают со страхом. „Неужели-ж и впрямь казенку откроют?“.

— В первые две недели все народ с себя спустит что за два года накопил!

— Из казны в казну,—иронически утешает дядя Сук:—что сберегательные, что казенки—одна казна!

— Ох, и снова же тогда ветром нас вымочит, дождиком высушит! Нескладно дело выйдет.

— Своими силами тут врага не одолеешь!

Да, своими силами эту старую рану народ не залечит. И теперь ее уже растравляют разные „натуральные браги“; и теперь, как всегда, все подлинные лекарства—на запоре, под запретом. Кому-то нужно (в деревне знают—кому), чтобы царевич Гвидон не вышел

из бочки, а если-б и вышел, то не „сильно-могучим богатырем“, а ледащим мужиченком, которому хоть голову—прояснило, да в ноги—ударило.

Июль.

VII. ТЕЛЯЧИЙ ДУХ.

В окно моей избы рано утром стучит дядя Сук, постоянный мой собеседник; на плече у него две удочки.

— Желаешь ради праздника побаловаться?— спрашивает он меня.

— Да разве сегодня праздник?— говорю я сквозь сон.

— А то нет разве?— удивляется дядя Сук:— ведь Первый Спас нынче!

И пока я одеваюсь, он продолжает рассуждать вслух:

— Праздников у нас об эту пору —без числа. Казанская, Смоленская, Илья, Пантелей мученик, Пятницы, три Спаса, Фрола да Лавры... Скажи ты мне, какие праздники в немецких землях празднуют?

Идем по улице, рассказываю о работе и о праздниках „в немецких землях“. Старик хмыкает не то одобрительно, не то осудительно, но высказаться не успевает: внимание наше привлекает окруженная бабами посреди улицы телега.

— Гляди, опять „Телячий Дух“ приехал,—сообщает мне дядя Сук.

„Телячий Дух“ —так прозвали „телятника“ Никиту, промышляющего скупкой телят, убоем и продажей их. „Где телячьим духом пахнет, там и Никиту ищи“,—говорят про него в деревне.

— Телятина почем?—спрашивает дядя Сук на ходу.

— Телятина?—изумляется Никита:—что ты, дядя? Те-

лятина нынче совсем разъяснена. Продать-купить — мне и тебе три месяца сидеть да три тысячи платить!

— Что-же продаешь-то?—удивляется в свою очередь дядя Сук.

— А мясо продаю, дядя, мясо!—простодушно отвечает Телячий Дух: — купи, задаром отдаю, по пятьдесят по пять копеечек фунт.

Дядя Сук откидывает рогожу и бросает взгляд на „мясо“ в телеге.

— И подлинно мясо,—хмуро соглашается он:—мясо быка трехмесячного.

Телячий Дух весело подмигивает; здесь все „свои“, а „чужим“ он и не продаст. Телятина по пятьдесят пять копеек—для города теперь это, может быть, дешевле дешевого, для деревни же—цена неслыханная, дороже дорогого. Но бабы раскупают бойко—надо праздничный обед варить („пост—не мост, можно и объехать!“). Телячий Дух сияет, дела идут хорошо.

Шагаем с дядей Суком дальше, выходим за околицу на высокий речной кряж. Далеко, „по край земли“ раскинулись поемные луга заливного берега; а край земли опоясан чуть видными в лиловой мгле лесами. Тихо на пустынной реке; вода не шелохнет, а луга переливаются густой волной травы,—точно чья-то гигантская рука тихо гладит зеленые волосы.

— Эх, добра-то, добра!—шумно вздыхает дядя Сук:— сколько добра зря пропадает! Гляди-ка, Петрюковские луга: так и стоят некошены, косой не тронуты, граблей не чесаны! А знаешь, какая на них трава? В укосной год—с десятины пудов ста по четыре! Трава—по грудь; налево—косой махнешь, направо—траву косой отвернешь, вот какая трава! Пропадает добро! Вот и Первый Спас, а луга, сколько глазом взять, все стоят, все стоят.

— Долго ли простоят еще?

— А простоят, братец, мой, пока белы мухи не прилетят! Прилетят белы мухи, траву покроют—тогда и коси, зови цыган. Цыганы, слышь, зимой траву косят, летом проруби рубят...

Мы давно уже спустились с кряжа, размотали удочки, закинули лески; старик рассказывает мне вполголоса, чтобы не спугнуть вьющуюся у крючков рыбешку, как купец Петрюков весною не пожелал сдать исполу свои луга, надеялся убрать „самосильно“, нанять рабочих. А теперь—„подошли когда Петровки, круто пришлось Петрюкову“; дает уж по семьдесят пять рублей за убор десятины, да и то никто не берет: свое сено убрать надо, и то с половиной не справиться! А десятину свободно в три дня втроем уберешь—на человека в день выходит рублей по восьми,—слыханное ли дело! До войны за восемьдесят копеек в сутки косили да убирали...

— Прилетел вчера из города купец к нам словно шалый: „Берите все исполу, согласен!“ Он-то согласен, да мы-то несогласны, нам теперь и исполу взять нельзя: свои сенокосы бросили, жнитво одолело, и на него сил не хватает. С тем и уехал купец. И по всей округе так: эх, сколько добра пропадает! Помяни ты мое слово, я тебе уж говорил: коли по всем губерниям так, к весне что сахар, что сено в одной цене будет!

— Вчера воскресенье, сегодня Первый Спас,—говорю я в ответ:—в два дня да всем обществом вы, пожалуй, десятин двадцать-тридцать травы сняли бы.

— Верно, сняли бы, — соглашается дядя Сук: — а с Пантелеем-мучеником да со Смоленской, гляди, и полдуга осилили бы. Да вот поди ты!..

И снова возвращается наш разговор к праздникам и к работе—у нас и „в немецких землях“. До войны разговор был бы короткий: оправдание своего, отрицание чужого. Теперь же в деревне начинают видеть, что в старом укладе жизни не проживешь, что за войну

„надо платить“, что надо (говоря книжным языком) от былой „экстенсивности“ переходить к „интенсивности“ в своем отношении к окружающему. И если 1861 год был переломом—переходом широких масс от натурального хозяйства к денежному, то 1914 год будет, вероятно, признан впоследствии тоже годом перелома—началом перехода к „интенсивному“ хозяйству, к „интенсивному“ укладу всей жизни. От великого зла может родиться и добро... что, впрочем, зла нисколько не оправдывает.

Года два-три тому назад дядя Сук крепко стоял бы „за старину“, за бытовой уклад, за „Фрола и Лавру“, за „девять Пятниц“ и мало интересовался бы, как празднуют или работают „в немецких землях“. Теперь он уже понял, что надо иначе работать, иначе жить, чтобы поспеть за ходом мировой жизни.

— Как стал прошлым летом германец переть,—вспоминает дядя Сук,—смотрел я в волостном на карту военную, думу думал, как, да что. Варшаву, слышь, уже берут. Глянул я налево от Варшавы, глянул я направо,—ах, кусай твою маковку! Тут все и понял. По леву руку—дорог железных черным-черно, пальца не просунешь; по праву руку—во всю ладонь плешины! А разве в одной дороге-то железной сила? Ведь так у нас и кругом идет, вся жизнь в плешинах!

Долго рассуждаем о „плешинах“ русской жизни; потом долго молчим. Потом старик подсекает окунька и продолжает думать вслух:

— Работа, праздники, дороги железные в тех землях иные; а и пожалуй, брат ты мой, и начальство там иное, не такое, как наш земский, а? Пришел я к нему намедни, послушал: красно говорит! Первое слово: пошел вон, растакой-такой! Я тебе пропишу! Я тебе покажу! Все такает, да „я тебе!“ да „я тебя!“ Пришли бабы просить у него, чтобы помощь на работы выхлопотал, а он...

И начинается подробный сердитый рассказ (раньше об этом добродушно говорили!) о всяких протекциях да связях, взятках да „смазываниях", темных делах да беззакониях... Когда этого не было? Но такое замечание еще пуще сердит дядю Сука:

— А было, так не должно быть! Ишь, плешины во всю жизнь развели! На это закона нет, беззаконие одно! Это брат, Телячьему Духу в пору! Не телятина, а мясо быка шестинедельного! А ведь дух-то этот телячий в нас сидит, нами и силен! Вот сын у меня на службе; весь в меня, горяч и на неправду—лют, потому и от начальства ему неприятности. Огорчается парень, пишет мне об этом, а я ему отписываю: ты присягу принимал и, значит, должен службу твердо нести, против врага и внешнего и внутреннего.

— Против какого внутреннего?—удивляюсь я.

— А ежели начальник не по правде поступает— разве он тебе не внутренний враг?—совсем уже сердито отвечает мне дядя Сук и решительно замолкает, весь уйдя в свой поплавок.

Долго молчим; рыба перестала клевать; солнце подходит уже „к раннему обеду". Старик сердит, расколыхался от мыслей; сердит на „телячий дух", на неправду, на беззаконие. Смотрю на него и думаю, что вместе со старым укладом жизни уйдут, пожалуй, в прошлое и такие вот старики, мудрецы народные. Мудрость их—от пустынной реки, от глухих лесов, от медлительной жизни; ей нет места при „интенсивном" укладе жизни, где мудрость заменена разумом. Войти в новую жизнь и сохранить старую мудрость—перед задачей этой давно уже бессознательно стоит народ; теперь подошло время решения.

Август

VIII. ТОЛОКА.

Сидим с дядей Суком под речным кряжем, кончаем утреннюю рыбную ловлю. Плохо идет рыба на крючок,—что за ловля с шумными разговорами! Дядя Сук сердито морщится.

Смотрю на старика, вспоминаю свои весенние разговоры с ним о „богатстве народа", вспоминаю и ряд статей на эту тему в недавно полученных газетах.

— Помнишь, дядя Сук, как ранней весной ты мне загадку загадывал: денег у народу много, живет он сытнее, а стал он беднее?

— Ну?—разглаживает морщины старик.

— Загадку твою деревенскую теперь по России в городах разгадывают.

Старик доволен, смеется.

— А разгадывают-то как?—спрашивает он.

— Да на-двое решают. Одни говорят: беднее стал народ, другие говорят: стал богаче.

— Да ведь и у нас на-двое решают,—говорит дядя Сук, поглаживая бороду:—есть и у нас такие, что говорят: богаче-де стал народ. Только это они, скажу я тебе, все от телячьего духа.

— Как от телячьего духа?

— А так. Видал ты вот давеча, Никита-Телячий-Дух торговал? Рад, богат, чорт ему не брат: теленка рублей за полста продал. А что скоро и телят-то неоткуда взять будет, что скоро телячья бедность придет—разве он это соображает? Дальше сегодня не глядит. А видал, давеча бабы-то, бабы, как телятину покупали? Ты ее спроси, бабу: богаче она стала? Скажет: богаче! А разве соображает, что двух коров продала, да вряд ли уже купит, снасть истрепала, землю обезнавозила? Это, брат ты мой, все телячий дух играет!

Дядя Сук смотрит на солнце и решительно закидывает на плечо удочки:

— Шабаш! На ушицу наловили, меню с ухой! Пойдем теперь, я тебе телячий дух этот как на лопате покажу, сам увидишь. Солнышко на раннем обеде; пойдем к Пелагее, сегодня у ней толока̀, мужики собравши.

— Что за „толока̀"?—спрашиваю я.

— Пойдем, пойдем, своими глазами увидишь,—отвечает мне старик, шагая.

И мы идем с дядей Суком на „толоку".

На-днях паровоз на „кальере" задавил единственную пелагеину лошадь; в самую рабочую пору осталась баба как без рук. Поплакала, потужила баба,—хоть и не так сильно, как в прошлые бы годы: тогда гибель единственной лошади—часто разорение дома, теперь—только тяжелый убыток, из „сберегательной" сотни две-три придется взять (явный довод в пользу „богатства" народа!). Написал я под диктовку Пелагеи письмо к ее мужу-солдату:

„Любезный муж наш Пётра Михайлыч, шлю вам от всего дому низкий поклон; в добром ли вы здоровьи? У нас все благополучно, чего и вам желаем. Еще уведомляю вас, Петр Михайлыч, что случилось у нас волею Божией несчастье: Бурого на кальере поездом зарезало. Петр Михайлыч, проситесь у командира в отпуск поскорее, лошадь покупать, сама не управлюсь"...

Письмо пошло, но и работа не стоит. К счастью Пелагеи, шесть мужиков из соседнего села, прослышав о бабьей беде, решили помочь ей, и в Первый Спас, когда от своей работы отдых, поехали с шестью плугами к Пелагее „на толоку". Толока̀,—объясняет мне дядя Сук,—то же самое, что и „по̀мочь", только на помочь—созывают, а на толоку — сами приезжают. Баба напекла пирогов, наварила телятины, купила „легкой бражки" у Миримирилиза и угощает дорогих гостей; за одно утро они вспахали ей под озимое одиннадцать полос,—ей одной не осилить бы этого и в неделю.

— Толочанам хлеб да соль! — приветствует собравшихся дядя Сук.

Мы присаживаемся к столу и вскоре принимаем участие в послеобеденном чаепитии. „Толочане“—трое молодых парней-„призывников“; два пожилых молчаливых мужика; еще один — с белыми кудрями бодрый старик, зачинщик „толоки“, член интересного „духовного братства“ (о „братстве“ этом попадались уже сведения в печати). Обед заканчивается в молчании; чай— время самых оживленных разговоров. Старик с белыми кудрями, весело прищурив глаза, рассказывает, как у них в селе отец диакон пустился в торговые дела: выписывает „удобрительную соль“ и прибыльно продает ее крестьянам: „благодати-то ему на пропитание не хватает, вот он, видишь ли, и торгует поземом“...

— Что-ж, покупаете у него соль-то? — спрашивает дядя Сук.

— А и будешь покупать, милый, когда скотины втрое убавилось,—отвечает старик-„братчик“:—скотины убавилось, позему не прибавилось.

— Позему убавилось, зато денег прибавилось, — ехидно закидывает удочку дядя Сук.

— Денег?—говорит „братчик“:—денег, милый, нынче в деревне, что рыбьей чешуи!

На удочку дяди Сука сразу попадаются молодые парни; перебивая друг друга, с азартом вспоминают они о недавнем прошлом, сравнивают его с настоящим. Прежде, два года назад, за пятьдесят, а хорошо за восемьдесят копеечек коси „от тёмна до тёмна“; прежде бабам за жнитво давали три-четыре копейки с „бабки“ („бабка“—десять снопов); прежде—дрова пилили у купца Петрюкова по семидесяти пяти копеек с сажени. А теперь!

— Теперь и за пять целковых в день Петрюков косца ищет!

— Теперь дрова пилить—ищи народу по пяти рублей с сажени! Вдвоем в день четыре сажени сложишь, вот и получай по десятке на брата!

— По десятке в день на брата!—захлебываясь подтверждает другой парень.

— То-то телячий дух играет! Ты гляди! — тихо толкает меня локтем дядя Сук.

— Неделю пропилишь,—вступает в разговор пожилой мужик, — в субботу за расчетом совестно итти: экую уйму получать приходится! Рублей пятьдесят в неделю напилишь, слыханое ли дело!

— А жать—с бабки тридцать копеечек! Баба, ежели без совести, в день плохих бабок двадцать поставит; с совестью — бабок пятнадцать: получай четыре с полтиной!

— Прежде жать „с души“ (душевой надел) за четыре рубля брали, а на душе нашей поставишь бабок сто. Нынче—тридцать рублей с души, да и то поищи!

И еще, и еще—сыплется целый ряд примеров, цифр, доказательств изобилия в наступившем золотом веке...

— Легкое нынче наше житье!—ядовито резюмирует дядя Сук: — умирать не надо! Одному ныне служба, другому служебка; одному воевать, а другому пановать.

„Председательское резюме“ слегка озадачивает парней; старик-„братчик“ подмигивает дяде Суку: видно, не раз уже старики толковали обо всем этом между собою.

— А правда ли, слыхал я,—продолжает дядя Сук,— что купцы у вас в селе жать нанимают за песок? Деньгами нынче никого не взманишь.

— Верно!—подтверждают гости:—деньгами не взманишь! А за четыре бабки фунт сахару — на это баба идет; поди, достань нынче сахар-то!

— Значит, за фунт песку сахарного — рубль двадцать! Ловко! А не по двенадцати ли копеечек он раньше был? Вот и гляди: нынче в десять раз дороже! А ну-ка, скажи, подметку ты прежде почем ставил? По полтине?

А поставь-ка ее теперь по пять целковых, поищи! Опять в десять раз дороже!

— Да заодно поди, приценись к сапогам!—вставляет старик-братчик.

Парни молча слушают стариков. „Оборотная сторона медали“ им известна, но не убедительна. По приходу и расход; но они больше верят „видимости“, абсолютной величине прихода, чем отношению между приходом и расходом...

— Вот теперь и рассуди, — заключает дядя Сук: — заработал ты вдесятеро против прежнего, да скотины у тебя втрое меньше, да народу втрое меньше, да товар стал вдесятеро дороже: велики ли твои барыши?

— А ты, дядя Сук, вот что рассуди, — отзывается один из парней:—теперь я от Петрюкова домой в субботу иду, пятьдесят целковых за неделю домой несу: так велики ли мои убытки?

— А ты смотри не носом, а через нос! Дальше заглядывай! Ты думаешь: экой кусок денег несу! А несешь ты, братец мой, кусок льда!

— Какого такого льда?

— А то нет разве? Тают денежки твои, тают, что лед в руках!

— Верно!—одобряет старик-братчик, и пожилые мужики тоже сочувственно кивают головами: — верно! Деньги теперь — что лед, товар—что огонь: не приступись! Неделю работал—одни сапоги купил.

— Богат-то ты теперь богат, — продолжает дядя Сук,—а, пожалуй, лыко на лапти скоро начнешь драть! Модель лаптей забыл? Небойсь, вспомнишь! А почем штаны нынче, знаешь? Нет, братец мой, теперь штаны— забудь, портки носи! Вот лошадь Пелагее покупать прежде я за полста рублей складную лошадь купил бы, а нынче, гляди, и за полтораста клячу купишь! Вот то-то!

— А все же, дядя, ты словами дела не затуманишь!—твердо стоят на своем парни:—не было у нас прежде денег, а теперь в каждом кармане их по деревне не мало.

— Не мало! Не мало!—передразнивает дядя Сук:—что-ж, ты эти деньги в котле заместо мяса сваришь? А как сахару нет, так к чаю марочек на прикуску подашь?

— Денег не мало в народе,—соглашается и старик-братчик,—то-то и беда, что не мало!

— Кто эти деньги делал, мужик или его баба? — подхватывает дядя Сук: — война сделала, нас не спрашивала. Денег не мало, на то деньга и дешевая, а ты радуешься, что ее много! Дешевого, братцы мои, и всегда много, что воды в море. Только, скажу я вам, через это море плыть — богатым не быть! Богат народ—землей да руками, а беден—дураками...

— А нынче и земля бедна, и рук мало,—заключает старик-братчик.

Оба старика — в полном согласии, понимают друг друга с полуслова, подхватывают, заканчивают, договаривают друг за друга. Пожилые мужики—на их стороне: поддакивают, соглашаются. Парни—в полной оппозиции; никакими доводами их не убедишь; раз у них в карманах что ни день „пятерка" — они богаты, ясное дело!

Так присутствую я при вечном споре „отцов и детей"; вернее—„дедов и внуков": „отцы" и старшие братья—на войне, и думают о другом.

Чай и разговор кончен; гости встают из-за стола, крестятся на угол и идут к своим плугам.

— Их дело молодое!—говорит извиняющим тоном старик-братчик, провожая глазами парней:—их дело молодое, верят сегодне больше, чем завтре. Нам с ними не сговорить. Булочник и кузнец оба у печи стоят: жар один, а понимание разное...

— Понимать-то много нечего,—говорит дядя Сук,—глазом видать, куда дело идет: беднеет земля.

— А ты для земли купи диаконского позему, пока деньги есть,—шутит старик-братчик:—а то потом, гляди, купить бы баба купила, да нету у нее купила...

— Шути, шути...

Прощаемся. „Толочане“ едут допахивать полосы, мы с дядей Суком идем по домам. Старик задумчив.

— Вот видишь, и у нас на-двое решают,—говорит дядя Сук, прощаясь у моей избы:—кто помоложе, тому дело с легкого конца видится. А вот с трудного конца поглядеть, так...

Он машет рукой, уходит, потом оборачивается:

— Одно есть только средство!

— Какое же?

— Всеобщая толока!

Август.

IX. КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО.

В ясный праздничный день конца августа сидим „всем обществом“ на мирской завалинке, щелкаем подсолнухи. Все новости минувшей недели обсудили,—одобрили и осудили. Введены в нашей волости (да и по всей губернии) карточки на сахар, это—хорошо, а то Миримирилиз с весны взогнал цену на песок от четвертака до рубля за фунт,—легко ли! Митька-пастух на общество рассердился, бросил свою службу,—пасите, как знаете! Сто рублей ему не доплачено, а ему и горя мало: я, говорит, в две недели на пилке столько-ж заработаю! Вот как стал народ швыряться нынче деньгами. А прежде бывало... Волостной старшина намедни проезжал, сказывал: по волости нашей с прошлого

лета убыло 1.800 коров,—вот это худо; не купишь теперь к весне коровы ни за двести рублей! Впрочем, по деревенскому присловью—„худо да не дюже“: тысяч двести рублей выручила волость за проданных коров. Да вот соседнее село: коров за год продали тысяч на пять, на „кальере“ заработали тысяч десять, да пайку солдатского получили за год тысячи три; разложи на пятьдесят дворов,—верных рублей четыреста на каждый двор окажется. Денег-то, денег! Впрочем, „хорошо, да не дюже“...

Так на мирской завалинке развертывается „обзор событий за неделю“, так от недельного обзора переходим мы к „годовому“ и входим в обычную теперь колею деревенского разговора: о том, как живется теперь, о том, что было и что будет... Никогда этого прежде не бывало в деревне. Разве какой-нибудь старик вспомнит порой о прошлом,—дело стариковское! О настоящем что говорить? Оно само говорит за себя. А о будущем что задумываться? Известно, что раньше или позже, так или иначе, а уж будет прирезка земли: дальше этого деревенская мысль не шла. Теперь—только и разговору о том, „как нынче живется“; сравнивают с прошлым, гадают о будущем. Не все расценивают одинаково создавшуюся жизнь, но все бессознательно чувствуют одно: в прежние рамки жизнь никогда уже более не вернется; хорошее или худое, но будет что-то иное. „Мировой сдвиг“, — по разному это понимают, по разному это выражают в городе и деревне; но мысль, но полусознанное чувство и там, и здесь одинаковы.

В колее разговора о том, как живется теперь и как раньше жилось, говорю собеседникам первые строки некрасовской поэмы; и мы, как некогда мужики из Горелова, Неелова, Неурожайки-тож, обсуждаем вопрос: „кому живется весело, вольготно на Руси?“

— Крестьянину?—дополняю я Некрасова.

— Вольготнее ему живется, чем допреж, — соглашаются собеседники,—вольготнее, это верно: а только веселье тут ни к чему.

— Какое уж тут веселье!—подхватывают другие:— кровь да слезы лить—не брагу пить. Сегодня, гляди, опять к воинскому явка.

— Веселья, брат, никому теперь нет, разве христопродавцу. А вольготнее стало крестьянину без казенки да с деньгами, это—так.

— Сытнее, да беднее,—повторяет свою излюбленную формулу дядя Сук,—а вольготнее ли—ты к земскому пройдись, с ним об этом потолкуй.

Хохочут. Земский начальник этот знаменит у нас своей „словесностью“: при нем вряд ли „вольготно“ живется крестьянину.

— Помещику?—спрашиваю я дальше по Некрасову.

Вчера еще читали мы газеты со статьями об аппетитах аграриев: им теперь „вольготно“! Впрочем, не по газетам знает это деревня: в нашей волости есть свой собственный аграрий, уже начавший скупать у крестьян хлеб в чаянии лакомой „твердой цены“.

— Помещику?—отвечают мне:—а то по помещику глядя. Большому — лафа, малому — не печаль, а вот среднему хлеб убрать туговато.

— Туговато хлеб убрать, а как убран, так не туговато продавать, — возражает кто-то: — цену-то, цену, гляди, как взбадривать пошли. Ржица-матушка уж теперь — пуд два рубля. А весной нам у них и покупать...

— По вольготной цене,—ехидно подсказывает кто-то сбоку.

Опять смеются.

— Помещику житье вольготное!

— Чиновнику? Попу?—продолжаю я.

— А попу и всегда было у нас вольготно; прибылей ему теперь не убавилось.

— Чиновник—опять же по чиновнику глядя. Как там в городе у вас—тебе виднее; а вот на станции у нас чиновникам живется—го-го-го!

— Помощник начальника лошадь себе приглядел—этак сот на восемь; а и сам-то он в год сот восемь получает.

И начинаются обильные рассказы о взятках, грабежах, хищениях; о том, как молодой инженер (из молодых, да ранний) второй год строит мост за нашим „кальером“, в топком месте, где весной разлив на версту. „Песку усыпал он туда вагонов тысяч с десять, а песок плывет да плывет, все ему в карман... Житье ему вольготное!“.

— „Купчине толстопузому?“—цитирую я дальше.

Снова хохот. Миримирилиз важно проходит мимо по улице.

— Ну, купца ты оставь! Это ты—мимо! Зачем зря языком трепать? Сам знаешь, кому теперь вольготнее купца?

— „Вельможному боярину, министру государеву?“

— А что-же, братец ты мой, его дело веселое!—говорит дядя Сук:—ты же сам намедни читал нам про министра: он и министр, он и помещик, сам сахар варит, сам сахар продает, да для занятия сам в сахарном хвосте стоит. Его дело веселое!..

Какое однако веселое время: всем, видно, живется вольготно на Руси, от мужика до министра!

Дальнейшее обсуждение поэмы Некрасова внезапно, точно вестник в античной трагедии, прерывает запыхавшийся парнишка Бабылушин; не переводя духа мчался он, чтобы первым сообщить в деревне неожиданную новость:

— Сто пленных немцев на работу на „кальер“ пригнавши!

Новость производит сенсацию; заседание на мирской завалинке немедленно прерывается, и все мы гурьбой идем „на кальер“ посмотреть на пленных немцев.

„Немцы“ оказываются австрийцами и чехами; дюжие молодые парни споро работают лопатами, насыпая песком вагоны и платформы; десятки любопытных зрителей столпились и глазеют на невиданных людей. Уже завелись разговоры,—на фантастическом обще-славянском наречии; уже известно, „как живется немцу“ в его родной стране.

— Вот, братцы, жизнь мужика-то немецкого вольготная!—восхищается один из ранее пришедших зрителей:—на мягких креслах сидят! Мясо, что ни день! Крыши на домах—все железо да черепица! Урядников—почитай и вовсе нет!

Из этих, столь разнородных, благ мира воображение моих собеседников больше всего поражают „мягкие кресла“, не как признак „баловства“, а как показатель достатка. „Урядника нет“,—это тоже заинтересовывает: какие же там у них „права“? Я вступаю в должность переводчика, и у нас завязывается перекрестный разговор с „немцами“. Скоро однако оказывается, что очень многое из рассказов „немцев“ о своей жизни известно моим собеседникам в достаточной степени из солдатских писем за последние два года.

— Правильно рассказывают!—подтверждает кто-то из толпы слова пленных:—это самое Ефрему сын отписывал про немецкую землю.

— Д-да!—задумчиво подтверждает дядя Сук,—житье немецкое много будет вольготнее нашего... Ну, а спроси-ка ты их, зачем они воевать пошли? За вольготность свою стали? На своем ведь пепелище и курица топорщится! Или так, дуром пошли?

Перевожу вопрос дяди Сука одному из „немцев“, зальцбургскому крестьянину. Тот хмуро отвечает, что их „послали воевать за чужое дело“. Слова эти я понимаю сперва в смысле национальной розни, думаю, что австриец говорит о войне „pour le roi de Prusse“ в буквальном смысле; но из дальнейшего разговора ока-

зывается, что он говорит о „чужом“—в смысле не своем, „не крестьянском“ деле. Объясняю дяде Суку. Старик—в восторге, хлопает „немца“ по плечу, угощает табаком; „немец“ улыбается; между зальцбургским и русским пахарями завязывается разговор,—и неисповедимыми путями они понимают друг друга, хоть через пятое в десятое...

Обратно идем вдвоем. Дядя Сук молчит, думает о своем; я тоже молчу,—и думаю, что где-нибудь в Зальцбурге какой-нибудь австрийский старик-пахарь, быть-может, ведет теперь подобные же разговоры с каким-нибудь пленным тамбовским хлеборобом. Миллионы карт перетасованы в мировой игре; каков-то будет ее конечный результат? Он всегда неожидан для начавших игру.

Говорю это дяде Суку; старик скупо цедит сквозь бороду:

— Дрожжа народная ныне густо заквашена; каков-от хлебушко выйдет?

И больше ничего не говорим уж до самой деревни, шагаем молча; думаем, каждый по-своему, вероятно одно и то же. Я думаю о том, что после 1814 года из „немецкой земли“ принес домой новые идеи узкий круг гвардейского офицерства; после 1914 года принесут домой новые понятия о жизни широкие массы народные. Ось „мирового сдвига“ пройдет по этой линии. Быть-может, тогда на-ново перерешится самой жизнью и старый спор о том, кому живется весело, вольготно на Руси.

Сентябрь.

X. ИТОГИ.

Озимь мягкой зеленой щеткой поднялась на полях; лен постлан, овес скошен, первые снопы ржи и овса обмолочены; по утрам начались крепкие заморозки. Летняя страда для крестьянина кончается, для горожанина наступает теперь зимняя страда.

Все готово к отъезду; под окнами звенят сбруей запрягаемые лошади. Прослышав об отъезде, собираются в мою избу напоследки потолковать и попрощаться соседи.

— Едешь в Сам-Петроград?—спрашивает, входя первым, дядя Сук:—ну, ин счастливо! Об Рождестве погостить приедешь?

— Постараюсь.

— Погости, погости! А я по первопутку с извозом поеду, в гости к тебе в город заеду. Тебе чего в гостинец привезти-то? Деревенский гостинец, положим,— дешевый интерес.

Я говорю старику, что теперь „деревенский гостинец“ для города—дороже дорогого; пусть везет в город все, что подойдется: масло, яйца, мед; в убытке не будет.

— Ну, быть так! А ты мне в городе сахару припаси. Мало теперь в деревне стало сахару, слава Богу!

— Как „слава Богу“?!—удивляюсь я.

— А браги теперь не из чего варить! Кинулся-было слабый народ на брагу, словно овцы на пакость. А теперь без сахару—поди, свари! Да постой, я тебе про это написал...

Старик лезет за пазуху и вынимает измятый лист с новой „поэмой“ (любит старик пописать!). Читает: „Былое и настоящее“. Длинная „поэма“; описывает в ней дядя Сук былое крестьянское житье не очень радужными красками; потом переходит к настоящему—тоже не очень радостному:

...Теперь по новому живут—
Бражку варят, сытно пьют:
Хоть закрылось монополье,
А выпивки есть приволье.
Нынче много браговаров;
В горшках варят, в самоварах...
Да теперь стали тужить:
Бражку не с чего варить!
Поднялся шум, что на пожар.
Что песок подорожал...

— А ты мне не песку, прикусочного сахару припаси,— прерывает чтение дядя Сук и снова принимается за чтение своей сердитой сатиры о былом и настоящем...

— Дядя Сук,—прерываю я,—да ведь прежде еще хуже было!

— А известное дело, хуже было!—охотно соглашается старик:—это дело мне, слава-те-Господи, довольно знакомо! Как на волю отошли мы—годов с десяток мне было. Вот тут и пошла гулять водка, что дальше—больше. Теперь, брат, хоть эта брага—та же здрага, а все-ж большой поворот война сделала! Дай Бог и во всем так!

Входят и присаживаются „на дорожку“ и другие соседи. Говорим на прощанье все о том же самом,—о „повороте“ во всех областях деревенской жизни, в мелочах и в важном. „Монополье“ закрыто,—крутой поворот, его никакая брага не обесценит. Денег много в деревне завелось,—тоже резкий сдвиг; эта „дешевая деньга“ хоть и не обогатила крестьянина, но все-же временно избавила его от денежной кабалы помещика, скупщика, кулака. Прежде деревенский Миримирилиз в кулаке держал всю деревню; нынче он только прижимает ее, чем может,—сахаром, ситцем,—но в кулак уж не сожмет. За-то прежде он „про работу забыл, на печи сидел, да ногой распоряжался, а теперь—шалишь, и руками поработаешь!“ Нет рабочих рук,—и деревенские богатеи, забыв про кошельное брюхо и про бы-

лую важность, сами вывозят навоз на поля, сами взялись за косу, за плуг, за топор. Словом, во всем поворот, в большом и малом, все резко изменилось в деревне за эти два года,—и конь пал, и дом сгорел, и бабушка померла... Говорю это соседям.

— Верно!—соглашаются они:—крутой поворот!

— Бабушке-казенке — вечная память! — смеется мой сосед-рыболов, былой пьяница и пропойца.

— А коня нового—укупим; были бы кони!

— Вот то-то: были бы!—слышен скептический голос.

— И дом всем миром поставим! Эна, достроил же хромою артелью свой дом Михалмихалыч! Так нешто мир—хромая артель?

— Не робей, воробей, дерись с вороною!—хмуро резюмирует дядя Сук:—судьба-то наша—ворона, много мужику каркала. Поворот-то есть, да не вышел бы он нам—поворот от ворот... Трудные дни—впереди!

Соседи примолкли и задумались. Да, конечно, они видят: деревне теперь, „без казенки да с деньгами", живется в общем „вольготнее", чем прежде, несмотря на удесятеренный труд (и благодаря ему), несмотря на бабьи стоны; деревня перешла „с худшего потребления на лучшее", крестьянское „меню" стало обильное и „сытное", денег (хоть и „дешевых") стало в деревне много. Они это видят. Но многие из них чувствуют, что все это—до поры, до времени; впереди — неизбежный переход „на худшее", и когда переход этот совершится, тогда вскроется подлинная сущность нынешнего деревенского благополучия: сущность эта—глубокое внутреннее обнищание при внешнем благоденствии деревни. В этом — первая половина итога всех моих летних впечатлений.

Я знаю: итог этот—неполный, частичный; я знаю не о хлебе едином живет деревня, духовные ключи пробиваются в ней теперь, быть-может, сильнее, чем всегда; война прорыла новое глубокое русло, по кото-

рому с новой силой струятся духовные ключи—и религиозные, и социальные. Все это—вне сомнения; но я не включаю в свои итоги эту сторону народной жизни: правда, духовные ключи — вековые, экономические итоги — временные, но именно это „временное" отразится на жизни ближайших поколений, именно это временное, „взрывая, замутит ключи". Внешнее благополучие и внутреннее оскудение северной русской деревни—итог слишком грозный, чтобы быть узким.

Впрочем, это лишь половина итога; вторая половина касается именно социальных ключей народной жизни. „Как дальше жить будем?" Недаром сам деревенский народ, в лучших своих представителях, тревожно задумывается уже над этим вопросом. Строятся утопии, коренные реформы, тяжкий приговор выносится „былому и настоящему"; а жизнь с беспощадной наглядностью обнажает свои „плешины", показывает их деревне с такой ясностью, как никогда. Как устроить, упорядочить жизнь? Как избавиться от „плешин"? Как избежать оскудения, обеднения, обнищания, запустения? „Одно есть только средство—всеобщая толока̀!"— часто повторяет теперь дядя Сук, вспоминая свои недавние разговоры на „толоке" деревенской. Он,—да и не один он,—видит, что совсем „без средств" тут не обойтись, что черные дни экономического испытания грозят деревне после коротких дней видимого благоденствия. Как справиться с черными днями царевичу Гвидону в окованной железными обручами бочке?

Так беседуем мы на прощанье с соседями; и я вспоминаю вслух про Гвидона.

...Он на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?»—молвил он,
Вышиб дно и вышел вон...

И на этом приходится нам кончать наши летние разговоры: лошади поданы к крыльцу, чемоданы крепко привязаны. Усаживаюсь в таратайку.

— Ну, ин прощай! Счастливо!—пожимают мне руку соседи:—об Рождестве приезжай, погости, газет привози...

— Рыбу подо льдом глушить будем,—соблазняет меня сосед-рыболов.

— Меню тебе календарное устроим,—обещает на прощание дядя Сук.

... Еду. Тихое лето бурного года осталось позади, как и моя деревенька. Проезжаю в последний раз через „кальер". Пустынная река тихо катит воды мимо крутого речного кряжа. Здесь когда-то, тысячи и тысячи лет тому назад, было „городище",—укрепленный стан людей каменного века; теперь балластные поезда берут отсюда песок, раскапывая кости людей и животных...

Каменный век и „кальер"! Сотни поворотов сделал на этом пути корабль истории,—на пути все к одной и той же цели, доныне далекой: свободе человеческой. И теперь человечество снова—на великом повороте. Штурвал поворачивается, цепи руля натягиваются... Через сколько лет, мгновений истории, поворот станет свершившимся фактом? Сколько бы мгновений ни прошло, — ясно видна его неизбежность; и это—второй и последний итог всех моих деревенских впечатлений. Впрочем, здесь „деревенское" становится уже общемировым.

Шелонская Пятина.
Сентябрь 1916 г.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ.

На берегах Невы:

I. „СЕЗОН“.

Возвращаюсь осенью из глубины деревенской России на берега Невы,—возвращаюсь вот уже третью осень с новым и странным чувством: точно впервые въезжаю в незнакомый город, „лицо“ которого мне еще неведомо, точно должен я, четверть века в нем проживший, заново с ним познакомиться, освоиться, присмотреться. И то сказать: вся Россия дрогнула за эти годы, от низин до вершин все всколыхнулось в ней, все медленно изменяется в ней,—и внешний лик земли, и души человеческие. Не мог же „град Петров“ один сохранить свой обычный вид, свое былое лицо.

Не о внешнем виде города говорю я, конечно, а о внутренней его жизни; ее изменения хочется понять, схватить, почувствовать. А внешний вид, он теперь—точно общий грим, одинаковый для всех городов, о нем не стоит и писать. Тысячеголовые „хвосты“ за сахаром, мясом, хлебом; человеческие гроздья на подножках трамвая; круто растущая дороговизна и вечные „продовольственные разговоры“—все это так похоже, так одинаково теперь и на берегах Невы, и на берегах Москвы-реки! Но внутренний „лик“ каждого города все-таки всегда свой, особый, единичный; меняется он медленно, выражается не во внешнем гриме, а во внутренней жизни, в творчестве художественном и социаль-

ном, в искусстве, в литературе, в борьбе идей, в росте групп, даже в смене „кружков“ и „направлений“. В этой области—у каждого города подлинно „свое“ лицо. „Петербург представляет собою идею, Москва—другую“,—говорил в свое время Белинский и был, конечно, глубоко прав.

В те времена, три четверти века тому назад, тема эта—„Петербург и Москва“—была, кстати припомнить, в большом ходу; Гоголь, Белинский, Герцен, не говоря еще о многих и многих, потратили немало остроумия для сравнительного описания двух наших столиц. И часто до чего „злободневны“ их, казалось бы, столь устарелые характеристики! „Москва нужна России, для Петербурга нужна Россия“, сказал когда-то Гоголь, прицеливаясь в петербургское чиновничество (конечно, в пределах николаевской цензуры). Когда вы читаете теперь о поездках чиновников с берегов Невы для циркулярного упорядочения сахарных или кожевенных дел по всей России, не становится ли снова современным ядовитый афоризм Гоголя?

А острые бутады Герцена хотя бы о тогдашней петербургской и московской литературе? Немало злого сказал Герцен о „петербургских торгашах-литераторах“, „связанных в общий литературный круг не идеею, а выгодою“... Наши нынешние „петроградские“ либеральные профессора-литераторы, на-днях распродававшие с аукциона ресторан „Доминик“ и на его месте открывающие, при ближайшем содействии Леонида Андреева, банковскую газету „Русская Воля“,—о, конечно же, они руководствуются не выгодою, а исключительно одной бескорыстной и чистой идеей! Но все-же никогда не был Герцен так современен, как в наши дни! Не он ли тогда же писал о московских литераторах-славянофилах, что-де они плодотворно и бескорыстно проводят время, ежедневно доказывая друг другу какую-нибудь полезную мысль,—например, что Западу суждено сгнить, а России—

процвести? Нынешние московские „неославянофилы“ и до сего дня говорят, говорят, говорят, — безустанно и все о том же!

Но возвращаюсь к берегам Невы, к той скудной полосе, где природа „с величайшим усилием производит одни веники“ (слова Грибоедова), к той скудной полосе, которая сделана Господом Богом „только для равновесия, чтобы земной шар не свалился с орбиты“, к той полосе, в углу которой приютился „на трясине между двух вод—Петербург, Петербург блестящий, удивительный“... Уже тогда, когда слова эти писал Герцен— свое „лицо“ было у северной столицы, и она сохранила его до последних лет. Лицо это описал Достоевский в своих петербургских романах, лицо это нарисовал совсем недавно Андрей Белый в романе, так и озаглавленном—„Петербург“.

Теперь, в последние два-три года, лицо это, так хорошо знакомое и по личным переживаниям, и по историко-литературным воспоминаниям,—лицо это как-будто меняется, как будто новые начинают проступать в нем черты, неожиданные для былого Петербурга, ныне ставшего Петроградом. Один пример: кто бы мог ожидать от холодного „Петербурга“ того взрыва „горячих чувств“, который объединил 26-го июля 1914 года всю Государственную Думу, от г. Пуришкевича до г. Керенского? Это—в области политической; но и в других областях жизни холодного города новые черты стали нарождаться одна за другой, перемена шла за переменой. Подлинные ли это перемены? Или—plus ça change, plus c'est la même chose? Не мудрствуя лукаво, а воспринимая, не строя теорий, а наблюдая только и можно решить этот вопрос. Воспринимать, наблюдать — я и собираюсь теперь делать это, вернувшись поздней осенью из деревенских просторов на берега Невы.

„Сезон“ уже начался, и в старые меха капля по капле точится новое вино. В социальной жизни, в на-

ших религиозных и философских исканиях, в искусстве, в литературе, в политике—всюду буду я пробовать на берегах Невы новое вино этого года. Итоги придут без предвзятости, сами собою; быть может, за один год и совсем не придут, заранее знать нельзя. А пока начинаю записывать свои впечатления в том порядке, в каком их дает сама жизнь: деяния именитых мужей и характерный случай из хроники, театр и улицу, интересную лекцию, выставку, жизнь кружков и групп,— всю, быть может слишком внешнюю, жизнь этого „сезона" на берегах Невы. Ведь и в „сезонном" есть общее, во внешнем—внутреннее, в преходящем — неизменное.

Октябрь, 1916 г.

II. „РОМАНТИКИ".

Был я на „премьере" новой пьесы Д. Мережковского „Романтики", смотрел на Юрьева в роли Михаила Кубанина, на Д. Мережковского в роли выходящего на вызовы автора—и вспоминал одно крылатое слово, случайно подслушанное мною когда-то в Москве.

Большая афиша зазывала публику в кинематограф, заманчиво суля зрителям „ленту в две тысячи метров" обстановочной пьесы Ростана „Романтики". Два по-праздничному нарядных мастеровых вместе со мною остановились у зазвонистой рекламы, и один из них по складам разбирал:

— ...Ро-ман-ти-ки...

Разобрал и обратился к товарищу:

— Надо поглядеть.

— А что?

— Да занятно: хиромантики!

И они вошли в кинематограф, заинтересованные пьесой—очевидно, из жизни гадалок, хиромантов и тому подобных удивительных людей. Ушли из кинематографа, вероятно, разочарованные и с недоумением: где же „хиромантики“? Шли на „хиромантиков“, попали на „Романтиков“!

Чем дальше развертывалось действие новой пьесы Д. Мережковского, тем больше вспоминал я этих двух товарищей моих по судьбе. История их в обратном порядке повторилась со мною: шел я в театр на „Романтиков“, а попал на „хиромантиков“.

Сидел я в театре точно перед загадочной картиной на тему: „Где романтики?“ Но загадка была без отгадки: никаких „романтиков“ не было. Кто в этом больше виноват—автор или театр? Не знаю; думаю, что автор постарался, а театр посодействовал. Знаю только, что обоюдными усилиями крупного русского писателя и „образцового“ нашего театра создано некое „позорище“, чуть ли не пародия и сатира на „романтиков“ тридцатых годов. Если этого не было в замыслах автора—тем хуже для автора.

А между тем на сцене двигаются и говорят люди коим твердо полагается быть характернейшими „романтиками“ своего времени. Место действия—знаменитое в истории русской литературы Прямухино, имение Бакуниных; на сцене почти вся их семья: отец, мать, сестры и сам Михаил Бакунин, под псевдонимом Михаила Кубанина. Псевдоним прозрачный: он не мешает оглашению со сцены отрывков из письма Белинскаго к Боткину про Бакунина-Кубанина. Момент, к слову сказать, пришитый к пьесе белыми нитками, исключительный по художественному бесвкусию; слушаешь и не знаешь куда глаза отвести...

Время действия—1838 год, время, в летописях бакунинского семейства известное под названием „борьбы за освобождение Вареньки“ (одной из трех сестер

„Мишеля", неудачно вышедшей замуж за помещика Дьякова). Разработавший прямухинский архив Бакуниных А. Корнилов отметил в своей интересной по материалам книге („Молодые годы Михаила Бакунина", стр. 326), что „вся эта борьба представляется чрезвычайно ярким и характерным эпизодом в истории русского романтизма",—и Д. Мережковский, соблазнившись этими словами, решил написать „Романтиков", уложить „борьбу за освобождение Вареньки" в четырехактную пьесу. Пьеса есть; одна беда—„романтиков" тридцатых годов в ней нет.

Глядя на сцену, я вспоминал жизнь: что сделали с нею, с живою жизнью, автор и исполнители! Как обкарнали духовно они живых людей! „Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я—поэт!"—гордо заявляет художник. Д. Мережковский — большой писатель, большой мастер, но совсем не поэт, совсем не творец, совсем не художник— поступает иначе: берет он кусок жизни, тонкой и богатой, и делает из него грубую схему, обескровленное „представление в четырех действиях"...

Во что превратил он трех сестер Бакуниных, Александру, Татьяну и Вареньку! И какие возможности давала ему жизнь! „Бескорыстно любуешься этими девушками, как прекрасными созданиями Божиими, смотришь, слушаешь... Хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей". Так писал про них Станкевич. Читаешь теперь, через три четверти века, письма сестер и понимаешь, что эти представительницы „романтики" тридцатых годов по духовному росту своему не могли не быть вполне „своими" среди друзей Мишеля, в обществе Станкевича, Белинского, Боткина. Не с дудочки насвистывал сестер Мишель философией Фихте и Гегеля, не как попугаи и обезьянки заучивали сестры философские слова и романтические гримаски; нет, после тяжелых и мучитель-

ных переживаний все они (и особенно Варенька) думали найти спасение в идеалистической философии, преподаваемой им Мишелем. Во всем этом было много „слов", было много поз, было много „рефлексий", но душевная трагедия Вареньки — все-же исключительна по силе и глубине; недаром Белинский, пусть „неистовый", преклонялся перед Варенькой, как перед „великой женщиной".

Так было в жизни. А на сцене передо мною была загадочная картина: „Где романтики?" Мило жеманилась и словами автора болтала глупости придурковатая Танечка, лихо гусарила и говорила грубости Александра, старательно раздвоялась и кисла между братом и мужем Варенька (Рощина-Инсарова), по воле автора обратившаяся в одну из чеховских трех сестер. Три сестры: глупая грубая и скучная — вот во что превратились у Д. Мережковского эти „прекрасные создания Божии", которыми любовались и Станкевич, и Белинский. Подлинно—из куска жизни грубой и бедной сладостная легенда создана Д. Мережковским.

Еще один пример. Отец Михаила Бакунина, Александр Михайлович, был, по выражению Белинского, „одним из людей, благословенных Богом при рождении". „Воспоминание о вас,—писал старику Белинский,—будет для меня одним из лучших даров жизни". И Белинский писал это в разгар хорошо известной ему жестокой семейной борьбы Михаила Бакунина и сестер с отцом „за Варенькино освобождение". Д. Мережковский и тут сотворил сладостную легенду. Он вывел на сцену скверного старикашку, обманщика, лицемера, труса. Холодный пот прошибает старика, когда сын спрашивает, был ли отец членом Союза Благоденствия. Он с либеральными поблажками сечет своих крепостных; и весть, что Федьку секут, и весть, что высеченный Федька удавился—одинаково не нарушает прямухинской гармонии, одинаково мало возмущает ясность души и старика-отца, и молодых премухинских „романтиков".

Что же—сатира и мораль смысл этого всего? Уж не писал ли и сам автор свою пьесу с хитрым замыслом показать подлинные грубые лики легендарных тонких и нежных „романтиков“ 30-х годов? Ничуть не бывало. Так вышло, но, несомненно, не по воле автора. Я уверен, он искренно думал, что пишет „романтиков“, что иконописные лики истории оживляет он дыханием жизни, Вышло наоборот—живых людей обратил он в схемы, чуть не в карикатуры; так вышло, но он, конечно, не желал этого. Иначе бы пришлось допустить, что и на Михаила Бакунина он намеренно нарисовал злую карикатуру; а между тем он в искреннем восторге стаканы бьет и „виват“ своему герою кричит. Впрочем, Михаил Бакунин для него только половина героя.

Старая это история, вечная схема однообразного словесного мастерства Д. Мережковского. В романе „Петр и Алексей“ перед нами был холодный ум отца и умное сердце сына в тяжелой борьбе. Кто победил? Оба и ни один. Третий, подлинный победитель — впереди. Так и в „Романтиках“. Холодный ум Михаила Бакунина противопоставляется умному сердцу Дьякова, мужа Вареньки; в борьбе их—стержень пьесы. Кто победит? Подставьте новые имена в старую формулу, и вы безошибочно предскажете ответ: оба и ни один. Мне сделалось даже весело, когда я, решив во втором действии эту формулу, в четвертом действии узнал, точно в отделе „Ответы“ задачника, что решение мое безошибочно...

Дьяков, антитеза Михаила Бакунина, был в жизни вовсе не „антитезой“, а просто милейшим, добрейшим и обыденнейшим добрым малым, отставным офицером, бытовым помещиком 30-х годов. На сцене перед нами была воочию „сладостная легенда“: медленно влачился загримированный под молодого Герцена тихий страдалец с умным сердцем, талантливо распространяя вокруг себя, по воле автора, нестерпимую скуку. К четвертому

действию он зато одержал половинную победу над своим противником и над собою: Вареньку за границу отпустил, сына Сашку ей отдал, Мишеля посрамил. Но и Мишель тут же его победил и посрамил; получив оскорбление действием, и, сперва воспылав жаждой крови—немедленно бросил пистолет: „Убивать противно!“ И сейчас же, с этой новой мыслью, уехал делать революцию в Европе, точно это 1916 год. А пьяный приживальщик, отставной гусар Митенька Покотилов,—„хор“ античной трагедии и рупор автора,—немедленно пояснил Дьякову: кто из вас друг друга победил,—он ли тебя, ты ли его, — про это рассудит один Бог... Таков ответ задачи под нумером „Романтики.

Но, Боже мой, где же, наконец, эти „романтики“, где решение загадочной картины, если сам Михаил Бакунин в изображении автора является не „романтиком“ 30-х годов, а непроизвольной пародией на него! В пьесе и на сцене перед нами был невыносимый фразер; он принимал позы, любовался звуком собственного голоса, пил шампанское, брал деньги у своего оскорбителя и напыщенно молился солнцу. Михаил Бакунин здесь и близко не проходил. Да, конечно,—и он любил фразу, и он пил шампанское, и он бывал неразборчив в добывании денежных средств—все это бесспорно. Но куда же девал Д. Мережковский покоряющую сердца страсть, могучий „диалектический“ дар, глубокую силу воли Бакунина? Где тот Бакунин, который умел покорять себе всех окружающих, а не только трех неразвитых девиц (глупую, грубую и скучную), которому покорялись в свое время такие различные люди, как Белинский и Прудон? Несколько подлинных фраз Бакунина кстати и некстати втиснуты в пьесу,—неужели этого достаточно для характеристики „романтика“ Бакунина? Есть из-за чего кричать ему „виват“ и бить стаканы под занавес! Часть публики однако приняла

все это за чистую монету и присоединилась к авторскому „вивату"...

Нет, тысячи верст лежат между живым Михаилом Бакуниным и бездушным Михаилом Кубаниным. А между тем Кубанин—подлинный „герой" пьесы Д. Мережковского; сатира и пародия были за тысячи верст от намерений автора, когда он рисовал этого своего героя. Но автор не совладал с жизнью, она оказалась не по силам ему, она оказалась выше его. Взял он кусок живой жизни и искусно слепил—обескровленное „сценичное" произведение. Взял „светлые образы" сестер Бакуниных и создал в кривом подобии фигуры трех провинциальных барышень. Взял революционера-мыслителя и сотворил реакционера-фразера, ибо подлинная реакция таится в вечном внежизненном слове. Взял душевную трагедию Вареньки, но получилась только драма жизни самого Д. Мережковского: все живое холодеет от его прикосновения.

В „Романтиках" его нет „романтиков", Кубанины его не Бакунины. Если поставить себя „на такую точку", если понять, что „загадочная картинка" так и не имеет ответа, то можно досмотреть пьесу без особого неудовольствия или удовольствия. Рассказывается про семейную драму в какой-то семье и про благополучное ее окончание; ходят по сцене и разговаривают какие-то „хиромантики"... Ну, что-ж! Сделано все это технически умело, публике может нравиться, К. Яковлев очень недурно играет роль пьяного хорега, Митеньки Покотилова...

Этот Митенька, к слову сказать, уже подлинно какой-то „хиромант" и ясновидец: что ни фраза, то цитата из неизвестных ему произведений русской литературы. „Все благородное страждет, одни скоты блаженствуют", — негодует он, например, предвосхищая позднейшее письмо Белинского. Чужих „будущих" фраз

у него десятки,—обычный метод Д. Мережковского лепить цитатку за цитаткой: так и вся пьеса построена.

Однако Митенькина „хиромантика“ достигает в конце-концов силы пророческой. Прощаясь с Михаилом Кубаниным, он предсказывает, что в Россию ему уже не будет возврата: „Ты бунтовал здесь мальчиков и девочек, будешь бунтовать народы и царства!“. Слушал я это и думал, что Митенька, пожалуй, и через край хватил. Ну, куда Михаилу Кубанину народы бунтовать! Охота у него, быть-может, и смертная, да участь горькая. Никуда он не поедет, никого он не взбунтует, а засядет в своем имении,—быть может, засядет в литературе,—и начнет твердить лет тридцать подряд все одни и те же хиромантические зады с заранее готовыми ответами, строго по формуле... Михаил Бакунин,—вот это другое дело, перед ним дорога широкая—и в Европу, и в Петропавловскую крепость, и в Сибирь, и снова в революцию. А Михаилу Кубанину, доживи он до наших дней, была бы одна дорога: прямо в лоно какого-нибудь религиозно-философского Общества, за стол с зеленым сукном. Крепко уселся бы он там среди тамошних хиромантиков, и все бы говорил, и все бы говорил (как в пьесе): „мы—в абсолютной истине, они—в абсолютной лжи“...

Так думал я, слушая монологи Михаила Кубанина на „Хиромантиках“ Д. Мережковского (теперь уж я не могу иначе называть эту пьесу). „Хиромантики“—траги-комедия в четырех действиях! Вполне понимаю мелькнувшее в газетах известие, что московский Художественный театр отказался ставить эту, специально написанную для него пьесу. Понятно и то, что за нее ухватился Александринский театр, давно уже пребывающий в состоянии хаоса и упадка; в несколько недель на живую нитку сметал он пьесу, а „Романтики“ там она, или „Хиромантики“—это ему, право же, все равно. Главное: сделана пьеса складно, „сценично“,

есть выигрышные роли, смешные и драматические положения, эффектные места „под занавес"—чего же вам больше! Успех обеспечен. И вот пьесу наскоро сладили, поставили, дождались рукоплесканий, загладили этим неуспех предыдущих постановок. Автора много вызывали, он раскланивался.

Я не очень высокого мнения о нашей „образцовой сцене", об Александринском театре. Но я иного мнения о литературном значении Д. Мережковского. Большой писатель и искренний искатель, вряд ли слишком радуется он бледному успеху своей пьесы. Ему нужно другое: ему нужно, чтобы за его верой пошла толпа, чтобы проповедь его собрала учеников. И уже много лет проповедует он,—глас вопиющего в пустыне... Вместо толпы—кучка, вместо верных учеников—враги. Отчего? Драма его—драма Кубанина: холодный ум и ни одной искры в сердце. Смешно, когда он, автор, бичует за это Кубанина: C'est le diabee qui prêche la morale. Он не понял, что громадное влияние на людей подлинного Бакунина не объясняется его холодным умом; он не понял, что без огня в сердце нельзя зажигать души ближних; он не понял, что не одним умом, но и сердцем богаты были „романтики" тридцатых годов. Он всего этого не понял,—оттого-то вместо „Романтиков и вышли у него „Хиромантики".

Октябрь.

III. ПРИТЧА ПРО ПЧЕЛОК.

Еще с лета в газетных ульях на берегах Невы началась какая-то суматоха, точно перед роеньем, и до сих пор, до поздней осени, продолжается она в них, иногда вырываясь и на газетные столбцы. Пчелы хлопотливо роятся в новые рои, перелетают на сладкую

приманку из летка в леток, и скоро, в час добрый, один из новых роев осядет в новом улье, и мы, читатели, полакомимся первыми сотами банковской газеты „Русская Воля“.

На-тко, медку! С караваем покушай,
Притчу про пчелок прослушай!

Притча же вышла, как известно, занятная,—мимо нее не пройдешь, раз вглядываешься пристально в новые черты новой жизни на берегах Невы; в притче этой—большой общественный интерес, в ней, быть-может—решение вопроса о ближайших судьбах русской печати.

„Начнем ab ovo“. „Русская Воля“ не всегда была „Русской Волей“. Всем памятно, как в трудах и мучениях рождалась она этим летом и была во младенчестве предположительно наречена „Зарей“; все помнят, как „консорциум банков“ решил издавать эту „Зарю“, большую „литературную“ газету, в целях правильного освещения торгово-промышленных интересов. Газета должна была собрать вокруг своего знамени чуть ли не всю русскую литературу, должна была выходить при ближайшем участии Л. Андреева, М. Горького, В. Короленко...

Банки, торгово-промышленные интересы—все это прекрасно; одно странно: причем же здесь русская литература? Пожалуй, что и непричем? И еще странно: много было званых в этот заманчивый литературно-банковский улей, в котором гонорары литераторов определяются десятками тысяч рублей,—много было званых и мало пришедших, мало литераторов с именем, пожелавших прочно связать свое имя с этим делом. О двух-трех мужах именитых—речь впереди, но в общем очень жиденький рой ближайших сотрудников слетелся на заманчивые призывы „Зари“. Странно: откуда такие цивические добродетели в наше протухлое время? Разгадку можно найти в совсем другой

„Заре“, которая тоже хочет пышно взойти над берегами Невы.

На-днях опубликована в газетах замечательная „докладная записка“ о создании у нас рабочего органа печати, издаваемого промышленными группами. Группы эти должны, однако, „ничем наружно не проявлять своей причастности“ к изданию рабочей газеты, ибо в противном случае—„одно только это обстоятельство даст незаменимое оружие в руки оппозиции“... Эта прелестная откровенность еще более оттеняется храбрым либерализмом: „в отношении отдельных представителей власти орган оставляет за собою полную свободу суждения“. А если, несмотря на это, „левые группы“ и отнесутся подозрительно к этой рабочей „Заре“, то не беда—есть и на это средство: „подозрительность оппозиций будет усыплена политической терпимостью нового органа и его неизменным доброжелательством в отношении представительного строя“... Это—с одной стороны. А с другой—и правительство в его целом будет относиться „абсолютно благожелательно“ к восходящей рабочей „Заре“, ибо „проектируемый орган явится, собственно говоря, органом промышленных групп, тяготеющих к правительству“... Остается самый трудный вопрос—о читателях, о подписчиках: их чем взять? Путь предлагается двойной: часть читателей будет захвачена и покорена „глубоким идейным основанием“ нового органа; основанием этим должен явиться „высокий государственный принцип: единение всех сил государства—залог победы“... А другая часть читателей, которая к высокому государственному принципу „Зари“ отнесется скептически, будет атакована с другого фланга: каждый подписчик получит бесплатную премию—страхование его жизни от увечья... И, наконец—последний козырь!—„в состав редакции привлекутся несколько популярных публицистов, известных в широких общественных кругах“... Роятся трудолюбивые пчелки!

Читал я этот интереснейший проект и все путался: о какой „Заре“ тут говорится—первой или второй? Обе будут издаваться „промышленными группами“, причем группы эти должны „ничем наружно не проявлять“ своей издательской власти. Обе „Зари“ будут либеральны до пределов возможности,—с полной свободой суждений о действиях представителей власти (вы подумайте!), а правительство будет к обеим, ясное дело, „абсолютно благожелательно“. Можно ожидать, наконец, что обе „Зари“ будут основываться на одном и том же „высоком государственном принципе“ и будут дружно провозглашать лозунг „всеобщего единения“. Ну, как тут не спутаться, как тут разобраться: „где которая“? Разве только запомнить, что в одной „Заре“ бесплатно страхуют от увечий, а в другой „Заре“ бесплатным приложением является литературный отдел под редакцией Леонида Андреева.

Я, право, колеблюсь: какой „Заре“ отдать предпочтение? Обе будут либеральны до-нельзя, обе будут рассеивать своим светом окружающую нас ночную тьму, обе будут олицетворять пророческое предчувствие Пушкина:

И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна „Заря“ сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса!

Обе „Зари“ хороши. Но когда вы прочтете „докладную записку“ и программу второй, вам станет понятно, почему так туго слетаются „ближайшие сотрудники“ на золотой свет первой „Зари“...

Впрочем—предполагавшейся „Зари“ скоро не стало: газеты сообщили, что, по предложению Леонида Андреева, она переименована в „Эпоху“, а вскоре затем и еще раз переименована—в „Русскую Волю“. „Русская Воля“! Ну, конечно же, „воля“, раз издается она „промышленными кругами“ и под благосклонными ауспи-

циями самого главного в России министерства! Глубоко будет гнездиться в ней вольный дух, хотя все-же — держу пари! — никогда не преступит она пятой заповеди, разве только так, для соблюдения либерального „реномэ“...

Итак, все это совсем не странно, ничего во всем этом нет нового, вполне все это в порядке вещей. Не странно и то, что после первого приступа гонорарного пароксизма лишь весьма немногие и весьма мало именитые литературные и общественные деятели решились твердо стать под знамя „Русской Воли“. Нового нет и в том, что все же ряд литературно крупных, но общественно беззаботных писателей будет принимать случайное участие в новой газете: для них газета или журнал есть лишь безразличный „забор“ для расклейки собственных произведений; печатались они в „Лукоморье“, будут печататься и в „Русской Воле“.

Но вот что и несколько странно, и несколько ново: каким образом попали во главу угла этого органа дватри мужа именитых, которым, казалось бы, совсем не место в банковском улье? Как и зачем стали „издателями“ этой газеты два либеральных профессора, бывший товарищ Муромцева по Госуд. Думе, проф. Гредескул и нынешний ректор университета, проф. Гримм? За какую чечевичную похлебку связали они свои имена с этой восходящей „зарею“, что заставляет их радеть банковской газете, покупать ресторан „Доминик“ и распродавать его с аукциона,—вообще быть „издателями“ и доводить себя... хотя бы до выхода из состава комитета конст.-демокр. партии, как это случилось на днях с первым из них?

Но, наконец—Бог с ними, с этими именитыми мужами, с гг. либеральными профессорами! Особых общественных заслуг за ними нет, не они красят и красили свои места, а, наоборот, места придавали их именам вес и значение; Бог с ними! Но вот—Леонид Андреев, подлинно

„именитый муж“ русской литературы—он-то как сюда попал? Зачем он здесь? Зачем ломает он копья за безнадежное дело, зачем вербует сотрудников для восходящей „зари“, зачем ревностно готовит соты для банковского улья, зачем стал он „ближайшим сотрудником“ и редактором литературного отдела этого органа? Ошибка ли это и неумение сознаться в ошибке, или подлинно новый поворот писателя, новая тропа его пути? Если нет, то как же не поймет он, что не место ему в этом улье, что в этой „притче про пчелок“ не место его имени!

Да, в „притче“ этой подлинно много нового, невозможного прежде, возможного в наши дни; это новое, эти новые черты стоит наблюдать, стоит запоминать. И если многое не радует в этом новом, если не утешают в нем деяния мужей именитых, если не на должной высоте оказались иные из былых властителей дум, то есть рядом хоть один маленький утешительный факт: „консорциум банков“, миллионная и миллиардная сила, не может еще купить русской литературы, не может еще в этой области поднять нас на высоту западно-европейской культуры... Мы не можем возвыситься не только до американских культурных навыков, до их откровенно банкирских газет,—куда там!—мы не доросли даже хотя бы до publicité французских газет. Мы плачевно отстали и в этом отношении от „духа века сего“, мы до сих пор еще, несмотря на блестящие исключения, смотрим на литературу не как на торговый дом. Новая газета стала в этом отношении пробным камнем для многих и многих, экзаменом для литературных и общественных деятелей. И ведь как-никак, а лишь очень немногие из них срезались на этом экзамене.

Вот общественное значение этой „притчи про пчелок“ с берегов Невы. А нехитрую мораль сей притчи я выразил бы в таких словах: культура нам нужна—

конечно, бесспорно; но в области дальнейшей „капитализации“ литературы пусть лучше останемся мы по-прежнему „некультурными“, дикими скифами.

Ноябрь.

IV. НЕДЕЛЯ О ТОЛСТОМ.

Седьмое ноября и неделя вокруг него—ряд вечеров, ряд чтений, посвященных памяти Л. Н. Толстого. Видно, есть потребность хоть раз в году стряхнуть с себя „груз тяжкий дня“, выйти из узкой ограды повседневности, вспомнить общенародное, всечеловеческое, мировое. И движения воды чающие, и просто скучающие переполняют из года в год „толстовские вечера“; картина вот уже шесть лет одна и та же: тесно заполненные залы, талантливые чтецы и артисты, благодарная публика... Подлинно — в гражданские святцы русского общества 7-го ноября 1910 г. твердо и навсегда вписана „Неделя о Толстом“.

Был я вчера на одном „толстовском вечере“, завтра иду на другой; слушая прекрасную игру, чтение и пение, я все старался дать себе отчет: почему из года в год все меньше и меньше удовлетворяет слышанное и виденное, почему подлинно чествовать память Толстого каждый из нас может лишь „наедине со своей душой“? Загадка, впрочем, немудреная.

Вчерашний вечер начался вступительным словом известного профессора, историка литературы. Он справедливо говорил о том, что вместить в себя Льва Толстого не могли ни государство, ни церковь,—Толстой разбивал их рамки, ибо выше внешней нормы закона и обряда всегда была для него „совесть“, его свободное сознание. И по этой же причине не могло вместить в себя Толстого и общество: свободное сознание не вмещается в

рамки сознания ибсеновского „сплоченного большинства“, здесь—разрыв между обществом и великим человеком. Пусть разрыв,—в нем таится сила религиозно-философского учения Толстого; но только сила эта вся—в будущем. А в настоящем—стыдно признаться и грех утаить—русское общество недостойно своего великого художника и мыслителя...

Так—или почти так — говорил оратор, и „сплоченное большинство“ (ибо всякая зала есть почти всегда „сплоченное большинство“) встретило и проводило его речь „громом продолжительных рукоплесканий“, а некоторые газеты сегодня поместили отчеты о вечере и статьи „Памяти Л. Н. Толстого“ рядом с артиклями о „новом крупном скандале в Мариинском театре“ и о деяниях „председателя Общества сахарозаводчиков“. Не знаю, будет ли публика на завтрашнем вечере столь же дружно приветствовать мысли другого лектора, который (судя по программе лекции) собирается говорить, как-раз наоборот, „о причинах бессилия Толстого в области религиозно-философской“. Вероятно, будет. И будет по-своему права; ибо сила в будущем и есть для нее бессилие в настоящем.

А пока придет это „будущее“—создается „традиция“; ежегодное „чествование“ Толстого выливается в раз навсегда установленные формы и рамки. Каждый год повторение прошлого года, каждый вечер повторение самого себя. Вчера прекрасно была разыграна артистками „сцена в диванной“ из „Войны и Мира“ (хотя и не следовало бы Наташе Ростовой в 1810 г. петь романс шестидесятых годов XIX века, аккомпанируя себе на рояле „фабрики Беккера“), и завтра те-же артистки прекрасно, надеюсь, разыграют из „Войны и Мира“ сцену Сони и Наташи. Артистки бескорыстно трудятся с благотворительной целью, публика аплодирует, и повторяется „это и сему подобное“ из

года в год. Все это прекрасно, но неужели же в этом должно состоять подлинное чествование Льва Толстого?

Или вот: вчера талантливый артист с большим успехом читал сцену у следователя из „Живого трупа“,— и завтра на другом вечере прочтет он ее-же; многочисленные слушатели все так же восторженно апплодируют словам Феди Протасова о двадцатом числе и о двугривенном за пакость. Неудобно ломиться в открытую дверь, но все-таки спрошу: многие ли из этих многих понимают, что даже такие апплодисменты обязывают, что без этого все „чествование“ памяти Толстого обращается в пышную ежегодную декорацию, одну из тех условных форм, которые так беспощадно разбивал сам Толстой.

Чествование памяти Толстого—о б я з ы в а е т: вот простая разгадка немудреной загадки, вот почему с каждым годом все труднее и труднее посещать „толстовские вечера“, вот почему такой иронией звучали вчера слова толстовского „факсимиле“ на программе: „Рад случаю возобновить общение с вами. Лев Толстой“. Я очень опасаюсь: имей Толстой „право голоса“—это было-бы только из иронической вежливости к „нам“, если бы он, после всего случившегося за последние годы, не взял этих слов обратно и не вычеркнул бы их с программы...

Так я думал на „толстовском вечере“,—и невольно вспоминалась мне недавняя пьеса, в которой автор от чистого сердца захотел устроить „чествование“ своему герою, а невольно устроил ему чествование совсем с другого конца; имел намерение чествовать, а стал ненамеренно честить... Мы тоже по-своему искренно „чествуем“ Толстого,—вот уже шестую годовщину; не знаю, по совести, только: чествуем или честим? „Словами превозносят, делами же поносят“,—за два-три последние года разве мало было этому примеров? А чтение, пение, декламация, трио,—все это очень и очень

мило, приятно, отдохновительно, даже воспитательно, даже эстетично,—все что хотите... Но если у нас нет для Толстого ничего, кроме этого, если „этим“, только этим мы можем помянуть его“,—то он, конечно, не с „нами“, сколько бы раз мы ни собирались в парадных залах чествовать его память, сколько бы монументов ему ни поставили...

О монументах, кстати, горячую речь произнес И. Е. Репин. Бурными овациями сопровождались слова его о том, что памятник Толстому общество до сих пор еще не удосужилось поставить—средств нет, а вот „на разные ужасы“ легко швыряются миллионы...

Прежде, лет пять тому назад,—вспоминал вчера И. Е. Репин,—сам он требовал миллионы рублей на памятник Толстому, поддерживая проект какого-то российского обывателя: создать толстовский храм в виде „земного шара“ („размером с Исаакий!“), на шар уложить колоссальную фигуру льва с головою Льва Толстого (представьте себе этот ужас!), а внутри устроить просветительные учреждения и усыпальницу великих людей... Теперь Репин отказывается от этого проекта и просто предлагает заказать трем скульпторам (Гинсбургу, Шервуду и Коненкову) три небольшие статуи Толстого и поставить их „в Питере, Москве и Киеве“. Время не ждет; Толстой без памятника—это для русского общества „позор, позор и позор!“

Взволнованная речь маститого художника в своей практической части показалась мне, каюсь, нимало не убедительной: Толстой и бронзовая статуя (где-нибудь на Столыпинской)—зачем это, для чего? Не слишком ли это опять-таки легкий способ внешнего „чествования“, ни к чему не обязывающий внутренне? А новый гизехский сфинкс, размером с Исаакий и с головою Толстого—к счастью, он неосуществим. И совершенно не нужен.

Памятники, литературные вечера... Их будет еще бессчетное множество; каждый год будет проходить

„неделя о Толстом", с ее неизбежными литературно-музыкальными вечерами. Сидишь теперь на этих вечерах—и неожиданно думаешь: обещаемое нам после мировой войны „обновление человечества" коснется ли глубин личного сознания? И поймут ли тогда, что чествование памяти Толстого—о б я з ы в а е т?...

Ноябрь.

V. „МИР ИСКУССТВА".

На открытии выставки этюдов „Мира Искусства" было и теперь все так же шумно и тесно, как в прошлые, давно прошедшие года. Немного фантазии—и могло показаться, что в этих холодных залах мы все еще на гребне волны большого искусства, мощно пробивающего себе новое русло.

Дня через два-три я опять пришел на выставку, вчера долго пробыл на ней, снова и с тоскою переходил из залы в залу, от картины к картине. Мило, очаровательно,—а все-таки не уйти ли поскорее прочь, к жизни живой? Ходил, смотрел и—сказать правду?—невольно повторял навязчивые строки из незабвенного Козьмы Пруткова:

...Убрано роскошно!
А в душе—истома
И как-будто тошно...

Да, тягостное впечатление выносишь на этот раз—и не в первый раз—от выставки „мир - искусников", когда-то передовых и ищущих, а ныне, в массе своей, всего достигших и всем удовлетворенных. Как это случилось? Как это могло случиться? Когда и как „Мир Искусства" остановился на довольной самоудовлетворенности, застыл в достигнутом, из бурного весеннего

потока впал в тихий осенний прудик, поволновался в нем немного и улегся в тихих берегах?

Не сразу все это свершилось, понемногу накоплялось, и много уже об этом говорилось, много писалось; но, быть-может, никогда не проявлялась сущность „Мира Искусства“, может быть, никогда не определялась его будущность с такой ясностью, как на нынешней ноябрьской выставке. Пусть „профессионалы“ доказывают или оспаривают это „от писания“; я—„дилетант“, не чуждый искусству, тревожно, радостно и безустанно следящий за ним, я могу говорить только „от впечатления“. А впечатления в этом году, повторяю—тягостные. Особенно по сравнению с былыми годами.

Помню я боевые выставки „Мира Искусства“ на берегах Невы в самом конце девяностых, в самом начале девятисотых годов. Воспитанную на „передвижниках“ публику приводил тогда в ужас „декадент“ Врубель (его, подлинного мистика и „символиста“, считали тогда „декадентом“), побеждал яркостью и размахом начинавший свой путь Малявин (так и остановившийся на полпути); начиналось победное шествие представителей нового искусства, тогда—„декадентов“, ныне—уже почтенных академиков от живописи и литературы. Они победили, конечно, и воспитательное значение „Мира Искусств“ для общества в свое время было громадно. От него пошло многое „благое и злое“ нашей художественной жизни: и подлинная красота, и прикладная красивость.

„И все то благо, все добро“—на своем месте; беда была лишь в том, что „прикладное“ мало-по-малу стало в „Мире Искусства“ впереди „подлинного“, что, например, талантливейший эстет Сомов был для „Мира Искусства“ выше большого художника Врубеля. В жизни случилось, конечно, наоборот, и по этим путям началось расхождение „Мира Искусства“ и жизни: в первом

возобладало „прикладное“, во второй побеждает только „подлинное“.

По поводу теперешней выставки этюдов Александр Бенуа, заслуженный „рупор“ группы „Мира Искусства“, искренно „кается“: на всей выставке (где из двух сотен картин есть две - три „подлинного“, вечного искусства) ему больше всего понравились ...вышивки и „украшения для платьев“ из бисера, ибо „в этом вздоре больше настоящего искусства, нежели в иных саженных масляных картинах с идеями“... Он прав, конечно. Стоит лишь пройти на отчетную выставку настоящего года в Академии Художеств, чтобы убедиться в этом (больше об этой выставке сказать нечего, вся она—сплошное огорчение). Побывав на плохой выставке, всякий, конечно, с радостью согласится, что хорошая вышивка лучше плохой картины... Но хороша же в таком случае аттестация собственной выставки „Мира Искусства“ устами ее „рупора“ и летописца.

Этот пример показателен. Александр Бенуа здесь, конечно—лишь отголосок подлинного „мир-искусничества“, глашатай талантливых рыцарей прикладной красоты. Он говорит о „трудном и славном деле подъема русской художественной книги“,—дело это и вправь культурное, а виньеточных дел мастера и иллюстраторы у „мир-искусников“ есть преискусные (Билибин, Добужинский, Лансере, Нарбут, Чехонин). Иные их саженные масляные картины с идеями,—например, „Петр Великий“ Добужинского,—в сущности ведь не что иное, как те же иллюстрации в саженных размерах. Что же в этом дурного? Иллюстрации ведь тоже „дело славное и трудное“. Не менее трудное и славное дело—подъем художественной стороны театра, и здесь у „мир-искусников“ есть опять-таки прекрасные и разнородные декорационных дел мастера (Головин, Судейкин, Кустодиев, Анисфельд). А создание костюма? Ведь это такое же „трудное и славное дело“, и в этой области есть у

них такой признанный и на берегах Невы, и даже на берегах Сены мастер, как Бакст. Так со ступеньки на ступеньку доходим мы, наконец, на последних выставках до премилых юмористических силуэтов г-жи Кругликовой. Ведь все роды искусства одинаково подлинны, и хороший силуэт лучше плохой картины!

Все это бесспорно, все это прекрасно, но доводами от разума не победишь непосредственного впечатления. Ходишь теперь по выставке этюдов „Мира Искусства", вспоминаешь старое и уныло думаешь: Боже, в какой уютный прудик прикладной красоты влились бурные волны дерзновенного „декадентского" искания! Вот уже двадцать лет похожие сами на себя этюды и эскизы талантливого Билибина. Вот графика его тоже талантливого эпигона Нарбута, которого Александр Бенуа в восхищении именует „почтеннейшим художником-техником и безупречным ремесленником" (художнику не поздоровится от этаких похвал!). Вот узорные сумочки художницы, вот подушечки другой, вот вышивки бисером третьей, — очень, очень мило! Вот стилизованная театральная Русь талантливого Кустодиева, вот ажурная графика типичного „мир-искусника" Чехонина, вот силуэты Кругликовой,—не довольно ли? „Убрано роскошно... А в душе—истома и как-будто тошно"... Все это очень талантливо, все это очаровательно, зеленая травка на берегах тихого пруда манит к отдохновению, к „гутированию" всех этих фронтисписов, сумочек, бисерных кошельков и прочей прикладной красоты... Но еще больше тянет скорее подальше от зеленого прудика. Ведь где-нибудь да течет же река подлинного искусства!

Где-нибудь — только наверное не в „Мире Искусства"; его годы прошли. Странно: даже бунтари и искатели, попавшие в его тихое лоно, как-то бледнеют, ежатся, покрываются тиной. Уныло глядят со стен несколько картин неожиданно тусклого Кончаловского,

грязно-цветистого Машкова (его вершина, повидимому, уже позади); робко ищет новых путей даровитый, но и деревянный Карев, вполне доволен найденным безнадежно-изломанный Григорьев. Несколько наиболее „ищущих“ художников совсем не выставили ничего (Гончарова, Яковлев, Сарьян). И только в одного из выставивших веришь, и знаешь, что надежды не будут обмануты: он не остановится в тихой заводи „Мира Искусства“.

Не в „обществах“, не в „группах“, а в отдельных художниках разных групп надо теперь искать подлинно живое течение искусства; направления этого течения уже слегка обрисованы. „От графики к живописи“,— говорят одни; „преодоление импрессионизма“,—провозглашают другие. Лозунгов много, о них налету не скажешь, но ясно во всяком случае одно: преодоление старого, искания нового лежат теперь вне „Мира Искусства“, как группы. Его громадная революционная роль— в прошлом; слишком много в нем теперь „провинциального“, „уездного“. А несколько отдельных выдающихся художников из него пойдут, конечно, вперед. Победа их—впереди; и путь их от „прикладного“—к „подлинному“, от уездного—к мировому, от „Мира Искусства“—к искусству мира.

Ноябрь.

VI. ВСЕРОССИЙСКОЕ.

Титулованные Хлестаковы, „одетые в форму одного из ведомств“, явились рано утром в дом богатого „купца-спекулянта“, арестовали всех присутствующих, произвели в квартире тщательный обыск, денег не нашли и быстро скрылись „на двух автомобилях“. Об этом событии всю неделю на берегах Невы говорили

не меньше, пожалуй, чем о неудобопроизносимой по разным причинам протопоповиаде.

И справедливо: весь строй нашей жизни, весь быт наш всероссийский, с головы до пят отразился в этом замечательном „обыске“, где одинаково прелестно поведение и самовольных жандармов, и добровольной жертвы, беспрекословно подчинившейся „силе обстоятельств“! Явление—широчайшего захвата, явление—объявшее всю Русь, от деревенских низин и до столичных вершин...

Какая, казалось бы, пропасть между жизнью на берегах Невы и жизнью где-нибудь на берегах Оки или Шелони! Концы, которые горожанин не свяжет иной раз никакой нитью; пропасть, через которую он не перекинет никакого моста. Да и в действительности—контрастов, самых ярких, не оберешься. Вот один из них, „продиктованный жизнью самой“: случайное сравнение газетного листа с полуграмотными строками деревенского письма.

Не прошло еще и месяца с той поры, как в канцелярии святейшего синода родился замечательный циркуляр об игрищах. Новорожденный незамедлительно стал „циркулировать“ по градам и весям российским, был разослан во все закоулки обширного отечества нашего. Был он тогда же напечатан и в газетах, но в городах читатели не обратили на него почти никакого внимания. Суть его вот в чем: святейший синод предписывает всем благочинным, всем настоятелям, всем сельским пастырям иметь неусыпное бдение и наблюдение за образом жизни обитателей сел и деревень, пещись о неуклонном соблюдении обитателями оных тишины и благолепия, не допускать неуместных при нынешних обстоятельствах игрищ и всяческих проявлений веселья... И циркуляр этот уже дал свои плоды. Сельские пастыри, повинуясь велению свыше, обращаются для проведения этих велений в жизнь к содей-

ствию светской власти (штаты полиции усилены). Что выходит в итоге—об этом рассказывает только-что полученное мною письмо от деревенского приятеля моего, дяди Сука.

„...А еще уведомляю: кланяется тебе Пётра, Ефремов сын—вернулся, ходит на костыле. Просит: присмотри ему в Питере гармонь новую, двухрядную, за ценой не постоит, привези о Рождестве. Вышло дело о прошлое воскресенье. Играл он на гармони у избы, а урядник со стражником мимо ехали, велели прекратить: от батюшки, отца Николая, приказ прочитан: не велено весело шуметь. Петра Ефремов и говорит: я-де не шумлю весело, а играю тихо. А тот говорит: прекратить, ты дух понижаешь. А Петра ему: а коли понижаю, так, значит, для повышения духа сыграть надо веселую погромче. И чуть растянул, как тот ему и ткни кулаком в гармонь, пропорол, из нее и дух вон. Тут Петра“...

Прочел я эти строки, отложил письмо и развернул полученную вместе с ним к утреннему чаю газету. На первой странице—„зрелища и увеселения“. Тут и с полдюжины серьезных театров, и один „Привал Комедиантов“ (урожденная „Бродячая Собака“), и десяток кинематографов, и несметное число разных веселых театриков, „павильонов de Paris“ и тому подобных увеселительных заведений. Повидимому, в городе не возбраняется „весело шуметь“! В одном театрике обещают „шум, гром и вечер непрерывного смеха“, в другом—дают „Запретную ночь“, в третьем—соблазняют „Кабачком веселых гризеток“, в четвертом—изображают „Купленную любовь“, в пятом—действуют „Два пастуха и нимфа в хижине“ („возьми двух мужчин и одну женщину и не стесняйся...“). Все это очень заманчиво, очень; и бедная публика разрывается, не знает, какому веселому шуму и шумной веселости отдать предпочтение—„Их невинности“ или „Пегой красавице“,—и

наполняет в конце-концов все эти театры и театрики, кабаки и „павильоны". Так тому и быть полагается.

Конечно. Но все-таки: а как же циркуляр пастырям и благочинным о воспрещении „игрищ" (на гармониках и балалайках!), о несвоевременности увеселений? В городе „зрелища" процветают, в городе вопрос о закрытии и театров, и театриков снимается властями с очереди—„чтобы не понижать духа" обывателей; а в деревне представитель той же единой власти, согласно велению свыше, воспрещает весело шуметь на гармонике и выпускает из нее дух—„чтобы не понижать духа" обитателей! Вот „докудова разность" между полноправным городским обывателем и малоправным деревенским обитателем, вот какова пропасть между двумя родами искусства (павильонами de Paris и двурядной гармоникой),—вот тут и перекиньте мост между городом и деревней... И что я расскажу про нашу городскую жизнь дяде Суку, когда повезу на Рождестве Петру Ефремову новую двурядную гармонь?

Тем более порадовался я полному совпадению городского и деревенского в другой области общественной жизни, в одном общем явлении, для которого нет ни обывателей, ни обитателей, а есть лишь единые российские граждане. Совпадение это бросилось в глаза, лишь только я от свежих столбцов утренней газеты вернулся к недочитанным мною строкам письма дяди Сука:

„... И еще дело было у нас о то самое воскресенье. Пришли на деревню к вечеру двое, неизвестно какие, однако польты городские, в руках бумага с печатью, на груди бляхи большие. Сход собрали, прочли бумагу от начальства: браговаров найти, посуду разбить, самих в волостное забрать. Пошли они к сторожихе, четверть наливки табашной роспили, долго пили, стали сторожихе руки вязать, в стан вести, а народ смотрит. Пятерку дала, отпустили. У бабы Луши посуду стали бить,

куражились: ты-де нам меньше бутыли четвертной да билета четвертного и не выноси, не хлопочи. А народ смотрит. Шибко опьянели, песни стали петь; тут я из села подошел, со мною Петра, бумагу-то у их взяли, на бляхи глянули. Бляхи—дворницкие, питерские; бумага с печатью,—написано: свидетельство из Питера, проходное, административное. Слово непонятное, однако мы им тут же руки за спину, а парнишка Бабылушин самих их в волость и повез"...

Кончил я читать письмо и снова развернул газету на статье: „Подробности фантастического обыска у купца-миллионера". Вот где он, мост между жизнью города и деревни! Правда, обыск у купца-миллионера производили не административно высланные из столицы бывшие дворники, а бывшие люди высших ступеней—один камергер, два барона, потомственные дворяне, „золотая молодежь". Правда, в своей главной штаб-квартире, „Европейской гостинице", распивали они не „табашную наливку", а финь-шампань и ликеры; правда, отступного хотели они сорвать не „бутыль четвертную и билет четвертной", а по меньшей мере тысяч пятьдесят для начала,—„меньше и не хлопочи". Все это так. Но ведь все это—частности, детали; а суть, самая-то суть—неизменна она и в глухой деревне, и в шумной столице.

Суть эта, конечно, не в хлестаковщине. Не в диковину нам разные Хлестаковы, и в шайках и в одиночку. Еще совсем на-днях какой-то проходимец удачно разыграл в нашей столице роль почтенного профессора, обманул известных художников,—соблазнил одного миллионным заказом, польстил другому, что-де тот „поэт неба", и выманил у них после этого по несколько сот рублей. История такая может случиться и в Париже, и в Москве, в ней нет ничего исключительно русского, и Лафонтен и Крылов написали басню о вороне и лисице. Но хлестаковщина в формах „официального обыска",—пья-

ными дворниками в деревне, знатными проходимцами в городе,—это явление носит уже „национальный характер"; к тому же оно—всероссийское, и не только нет в нем ничего „фантастического", но, как видите, оно может реальнейшим образом повториться в одну и ту же неделю в городе и в деревне. Как это возможно? Возможности у нас неограниченны, и в этом царстве возможностей проходимцы с бляхами чувствуют себя, как рыба в воде. „А народ смотрит", до поры до времени.

Невеселое „бытовое явление"; но за то я теперь знаю, что рассказать о городской жизни дяде Суку, когда поеду на Рождестве в деревню с новою двурядной гармоникой. „Все, что вверху, то и внизу"—гласит древняя мудрость; и в деревне мы легко поймем друг друга, говоря о всероссийском. А насчет непонятного (почему „весело шуметь" в деревне строго воспрещается, а в городе усиленно дозволяется)—надо постараться понять, надо самому взглянуть на это царство шумной веселости, не столько на сцену, сколько на публику. Быть-может, тогда выяснится, что всероссийские бытовые явления и современная шумная веселость—два конца одной и той же палки...

Декабрь.

P. S. Всего на днях писал я о распоряжении святейшего синода, воспрещающем „игрища" в деревне, чтобы „не понижать духа", о гонении на гармошки и балалайки, о запрещении „весело шуметь". Я печалился: как это я расскажу в деревне, что нам в городе весело шуметь вполне разрешается и даже поощряется? Я надеялся: авось нелепый циркуляр будет раньше или позже (и чем скорее, тем лучше) отменен, и деревню снова сравняют с городом в широких правах — в полной свободе игры на гармони и на рояле. Жизнь немедленно ответила мне: отцы духовные, священники правых фракций Государ-

ственной Думы, внесли в нее законодательное предположение о воспрещении всяческих игрищ в городах, „в часы, когда церковный благовест созывает христиан на торжественную предпраздничную службу, ибо недопустимо в православной стране дозволять исполнение игрищ в часы предпраздничного богослужения“... Вот видите: не с того конца, а все-таки некоторое уравнение в правах! И когда я на праздники поеду в деревню, мне теперь легче будет отвечать на вопрос: — дозволяется ли в городе весело шуметь? Спасибо отцам духовным,—помогли!

VII. САВЛЫ И ПАВЛЫ.

Собирался я в „Привал Комедиантов“ и в иные подобные театрики,—посмотреть не столько на сцену, сколько на публику,—а попал на лекцию члена Государственной Думы Пуришкевича и тоже смотрел больше на публику, чем на лектора. Впрочем, „смотрите здесь, смотрите там“: зрелище равно поучительное.

Сидел, слушал, смотрел—и дивился нашей чуткости, нашей отзывчивости. В самом деле: не успела миновать неделя о Толстом, когда все мы были хоть на полчаса да толстовцами,—не успела миновать эта неделя, как пришла неделя о Пуришкевиче; думскую речь его превозносили всячески, стихи его (прескверные) переписывались и заучивались, на его лекции „зала была переполнена публикой, среди которой было много студенческой и рабочей молодежи, устроившей лектору грандиозные овации“... Конечно, молодежь молодежи рознь, но все-таки, думается мне, не было ли среди „этих“, поклонников Пуришкевича также и „тех“, вчерашних толстовцев на полчаса?

Схлынула эта неделя, пришла на смену ей другая: неделя о Протопопове, неделя об Амфитеатрове, вы-

званная их двояко разными и обоюдо едиными „письмами в редакцию“; и снова мы чутки, снова мы единодушны — как в одобрении Пуришкевичу, так и в порицании Амфитеатрову.

На очереди—новая „неделя“, с новыми положительными и отрицательными героями, добродетельными блондинами и рыжими злодеями... И таких „недель“—больше, чем недель в году; если бы в этом обывательском календаре пришлось заменять недели о Блудном Сыне, о Расслабленном, о Фоме неделями о Пуришкевиче, о Протопопове, об Амфитеатрове, то, пожалуй, было бы у нас в году много больше, чем 52 недели...

Отзывчивость, чуткость наша к событиям, это—прекрасно, это—утешительно, хотя бы мы и приезжали иной раз на пожар за час до его начала.

А подъезжаем мы таким манером к общественным событиям сплошь-да-рядом с излишней ретивостью. Взять хотя бы вот теперь все эти речи и лекции Пуришкевича, все эти „овации“ и рукоплескания ему. Сидишь, слушаешь и диву даешься: господа, по какому случаю шум? Утешительно, конечно, что член Государственной Думы Пуришкевич из гасителя Савла становится носителем духа Павла; и недаром в притче заколяют тельца откормленного в честь блудного сына раскаявшегося,—„ибо мертв был и ожил, пропадал и нашелся“... Одна беда: ничего подобного с Пуришкевичем не случилось. Чем он был, тем и остался; но сила современных событий такова, что даже он что-то понял. Но в этом—заслуга не его, а заслуга событий...

Речь его, деятельность его — все те же. Раньше боролся он с общественными силами, опираясь отчасти на „немецкое влияние“, теперь борется он с „немецким засильем“, желая опираться на общественные силы. И тогда, и теперь приемы борьбы одинаковые: все та же дешевая демагогия; тогда роль „Prügelknabe“ играл „жид“, теперь играет „немец“. Тогда Пуришкевич, фи-

листимлянин по натуре, с жидами за одним столом сидеть не мог; теперь он печатает следующее письмо в газетах: „Сим заявляю: выхожу из состава уполномоченных объединенного дворянства, ибо фактом избрания в совет его, в год войны с немцами, барона, остзейского немца, чувствую себя, как русский дворянин, оскорбленным до глубины души!“. Господа, устраивавшие Пуришкевичу овации, вы поторопились: Савлом он был и остался; он переменил „объект гонений“,—только и всего. А если при этой оказии вчерашние друзья ныне—ему враги („холопы!“), то из-за чего же нам все-таки восторженно стулья ломать?

Совестно было бы высказывать всю эту азбуку, ломиться в открытую дверь, если бы дверь эта была действительно открыта. Но все это надо сказать, когда видишь „грандиозные овации“, когда читаешь в иных „либеральных“ газетах восторженные статьи о речах, о „покраснении“ этого члена Государственной Думы, когда теперь прескверные злободневные стишки его жадно переписываются тысячами „любителей“, точно они перестали быть такими же виршами, как изданные недавно толстым томом его „жидоедские“ и „кадетоедские“ стихотворения.

Дело, впрочем, не в Пуришкевиче; он для меня никогда не был ни забавен, ни интересен. Интересно только отметить „силу событий“: даже Пуришкевичи, даже объединенные дворяне кое-что поняли из предметного урока российской действительности. А уж какие были они все десять лет жестоковыйные Савлы! Все так; не надо только думать, что перерождение Савла в Павла—такая легкая вещь... Обратный путь,—от либерального Павла к реакционному Савлу,—вот это много легче! И мы, на берегах Невы, уже видели, как быстро по этой дорожке можно, например, пройти от депутатской скамьи к министерскому креслу.

Или другой пример: как быстро может проделать тот же путь репутация „красного“ журналиста. Я говорю об Амфитеатрове и об оправдательном амфитеатро-протопоповском „письме в редакцию“ по поводу пресловутой, еще не вышедшей и уже набившей всем оскомину газеты „Русская Воля“. Но здесь, оставив в стороне вполне определившуюся фигуру министра, я должен сказать несколько слов в защиту неясной, очевидно, многим фигуры журналиста.

От „Красного Знамени“ к „Русской Воле“: этот путь приводит в негодование многих, восторженно аплодирующих Пуришкевичу и негодующих на Амфитеатрова. И совершенно неосновательно. От незнания своего люди эти негодуют. Но встревоженный журналист спешит оправдаться: в чем нужно и в чем не нужно. „Никаких банков в числе издателей „Русской Воли“ нет ни явно, ни, смею надеяться, прикровенно“: мы уже знаем по газетам, что смелая надежда эта не оправдалась. „Инсинуация“ о немецких деньгах и каламбуры о „Прусской Воле“ приводят его зато в справедливое негодование: зачем же он обращает внимание на эти выходки различных нововременцев? Он рассказывает нам, как проездом через Лондон он, Амфитеатров, „опубликовал статью (против мира) к успокоению английского общественного мнения“. Это прелестно, но все-таки, от каких слоев демократии получил он эти полномочия? Говорю о демократии, потому что сам же Амфитеатров заявляет о своем благом намерении создать из банковской „Русской Воли“—„яркий демократический орган“.

Но в этом-то и лежит ось недоразумения между Амфитеатровым и его порицателями. Они говорят о принципах демократизма. Но причем же здесь этот талантливый фельетонист? Что общего между ним и демократией? Спрошу больше: кто когда-либо относился к Амфитеатрову, как к серьезному политическому

деятелю? Кто же это пустил легенду о переходе его из Савлов в Павлы? Из Савлов, правда, он давно ушел (когда ушел из „Нового Времени“), но до Павлов так и не дошел: слишком он талантливый фельетонист, чтобы быть серьезным в политике, в социологии, в чем-нибудь. Он—прекрасный, прирожденный фельетонист, и этим все сказано. Его многотомные романы, исторические и бытовые, его „исторические исследования“, его зарубежные журналы, все его писания, от начала и до конца—один сплошной, очень бойкий и легкий, легковесный и игристый фельетон.

И совсем неуместно при виде его делать серьезное лицо, порицать его за вторичное сошествие к Савлам,—что за вздор! К ним он не вернется, он, надеюсь, пребудет либеральнейшим фельетонистом до конца дней своих, а „Русская Воля“, конечно,—я об этом уже говорил,—будет либеральной до пределов возможности. Но причем же здесь демократия, причем „измена“ ей, причем упреки за „банковскую газету“, за услужение капитализму? Все это летит мимо, через голову Амфитеатрова, ибо и капитализм нынче очень, очень либерален, и „последовательным демократом“ могли считать Амфитеатрова только очень наивные люди.

Восхищаться Пуришкевичем и порицать Амфитеатрова одинаково неосновательно; видеть в них Павлов и Савлов—одинаково наивно. Ни радости за одного, ни обиды за другого мы не чувствуем, ибо не видим никакого „перерождения“. Чем оба они были, тем и остались. Обидно было за большого писателя Леонида Андреева, за его политическую аберрацию, за подлинную литературу на откровенном банковском откупу; не хотелось видеть его имени рядом с другими у этого золотоносного улья. Но жизнь не считается с нашими обидами и желаниями—и, в конце концов, „каждый попадает на свою полочку“... Так оно, впрочем, и лучше.

Декабрь.

VIII. ЧЕСТВОВАНІЕ.

Ни одна из „петроградских“ газет (по крайней мере ни одна из тех трех-четырех, которые я просматриваю ежедневно) не поместила почему-то обычного отчета о последнем декабрьском заседании религиозно-философского Общества,—заседании, посвященном чествованию памяти недавно скончавшегося старообрядческого епископа Михаила. Быть может, „независящие обстоятельства“ помешали? А, может быть, и то: трудно было написать об этом путанном и истерическом заседании, этом верном „нюслеобразе“ путанной и мучительной жизни покойного искателя правды.

Выступал ряд разнообразнейших ораторов—и профессора, и (по виду) мастеровые, и духовные, и миряне, и старообрядческие епископы, и черносотенные попы, и некто от декадентства, словом—смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний. Старообрядческая епископская мантия, подбитая красным „огоньком“ (укор за гонения по адресу „господствующей церкви“!), шелковая ряса изящно грассирующего священника (которому почему-то кричали из публики: „Правовед!“), строгий профессорский сюртук, декадентские „власы, подъятые в беспорядке“, бороды по пояс, бритые лица—все контрасты и причудливые соединения. Но странно: тон почти всех речей — один и тот же; тон этот—самооправдание всех лиц, всех групп, всех кружков, и тон этот—подлинно делал „музыку“ всего сумбурного заседания, объединял его в одно целое. Все как будто оправдывались, вольно и невольно,—все относили к себе и к покойному епископу евангельские слова: к своим пришел, и те не признали его. Ибо подлинно крест жизни покойного был в том, что никто не верил ему до конца, никто до конца не признавал его „своим“.

Тяжелая это была жизнь и мучительная. Я не знаю, каким образом юноша, кажется, еврейского происхождения, попал в духовную академию, каким образом стал он „иеромонахом Михаилом“ (тут тоже, вероятно, какой-нибудь мучительный отрыв от своих), но помню, как появился он с докладами и речами на религиозно-философских заседаниях в эпоху их расцвета, в 1901—1903 гг. Он был тогда специально „выписан“ духовным начальством из Казани для противодействия опасно (для церкви) направленным религиозным исканиям петербургской „интеллигенции“. Его считали тогда „карьеристом“, который скоро сделает блестящую церковную карьеру на почве борьбы с „религиозно-декадентскими“ течениями.

Но „карьеры“ он не сделал. Духовному начальству он казался слишком „не своим“, казался слишком опасным в виду явного своего тяготения к „интеллигенции“. Но когда, в 1905 году, иеромонах Михаил всецело стал на сторону „интеллигенции“, склонился к „революции“, то ни одна из групп не признала его „своим“. Для бывших „декадентов“ он был неприемлем чисто „эстетически“, одним уже стилем своих газетных статей; писал он вяло, длинно, скучно и много. Круг тем его,— о свободной любви, о деторождении, о внебрачных детях, о проституции,—тоже казался странным и даже, пожалуй, смешным для „девственника“, для „иеромонаха“. Никто ему не верил до конца—ни декаденты, ни революционеры; „своим“ не считал его никто...

Еще год-другой, и — полный разрыв с „господствующей церковью“, переход в старообрядчество, посвящение во епископы. И снова—подозрения, что сделано это в видах „карьеры“. Подозрения ложные, ибо и здесь не признали его до конца „своим“. Его даже судили за вольные мнения, подозревали в разнородных ересях (чуть-ли не в признании вращения земли); но кончилось все благополучно, его назначили епископом

в Канаду, куда он, впрочем, не поехал... Жил канадский епископ где-то в Сестрорецке, ютился в каморках, неудачно и скучно попрежнему писал в газетах... И никто ему не верил до конца.

Эту мучительную жизнь завершила мучительная смерть. На заседании религиозно-философского общества один из ораторов, старообрядец, бесхитростно и красочно описал последние дни и минуты этой путанной жизни: как на рубеже душевной болезни бродил епископ Михаил по Москве, как избит он был ломовыми извозчиками и доставлен в больницу, как в больнице лежал он несколько суток, называя себя „старообрядческим епископом Михаилом“, умоляя дать знать о нем его друзьям в Москве, и как над ним посмеивались,—ибо и здесь ему не верили... И когда, случайно узнав о его местопребывании, явились к нему представители старообрядческой общины, чтобы помочь ему, он, умирающий, в бреду, молил только об одном: чтобы поверили ему, что он—подлинно епископ Михаил...

Какая жизнь, такая и смерть. Более того: таким же вышло и посмертное чествование его памяти в заседании религиозно-философского Общества. Почти все оправдывались, почти все самообвинялись, что „не приняли его“; но не могли найти общего языка, не понимали друг друга, мучительно путались. Некто от декадентов в заключении речи канонизировал покойного: „Святителю отче Михаиле, моли Бога о нас!“; православный священник выразил протест против столь поспешной канонизации; один из ораторов восхвалял смерть епископа Михаила, который умер „подзаборным и нищим“; старообрядческий епископ начал ответную речь взволнованным и искренно-непонимающим протестом: „Пусть простит Господь предыдущего оратора за то, что назвал он нашего епископа Михаила подзаборным!“... Все это было путанно, все это было мучительно, но все это посмертное чествование было по-

длинно отражением всей жизни иеромонаха, интеллигента, общественника, православного, революционера, старообрядца епископа Михаила...

Бессребренника, аскета, вечного неудачника, вечного искателя — его теперь канонизируют во святые вчерашние равнодушные и недоверчивые друзья. В ответ на это православный священник в шелковой рясе (все тот же „правовед“) под единодушное шикание всей залы высказал свое искреннейшее убеждение: „Святые под забором не умирают“... Где и как они умирают— он не сообщил слушателям, прервал свою речь и обиженно удалился из залы заседания. Но мне по этому поводу припомнилось замечательное место из одного письма Льва Толстого (начала девяностых годов), в котором предвосхищена вся позднейшая жизнь бывшего иеромонаха Михаила...

„...Я себе часто представляю,—писал Л. Толстой,— героя истории, которую хотелось бы написать. Человек воспитанный, положим, в кружке революционеров, сначала революционер, потом народник, социалист, православный, монах на Афоне, потом атеист, семьянин, потом духоборец, все начинает, все бросает не кончая. Люди над ним смеются. Ничего он не сделал и безвестно помирает где-нибудь в больнице. И, умирая, думает, что он даром погубил свою жизнь. А он-то— святой“.

„Святой“—это слово имеет для Толстого, конечно, не канонический смысл. И в этом человеческом значении—много истины. Истина в том, что не результаты исканий, а сами мятущиеся искания души человеческой имеют самодовлеющую ценность. Подтверждение этому— и жизнь, и смерть старообрядческого епископа Михаила.

Декабрь.

IX. ОБЫВАТЕЛЬЩИНА.

Старый год решил я заключить достойным образом: перед Сочельником отправился на лекцию „священно-сингела отца Мардария“,—он обещал раскрыть слушателям „Загадку России“. Не вынес я однако тяжести задуманного: малодушно сбежал с средины лекции... А в канун Нового Года—проводил на покой старый год, перечитывая старую и такую своевременную уже по одному своему заглавию повесть: „Пятая язва“...

Справил эти достойные поминки и еду теперь хоть на малое время в занесенную снегами деревушку—глотнуть лесного воздуха и побыть хоть неделю в подлинной жизни, не выдуманной, не нарочитой. Я знаю: и в кипении большого города есть своя глубокая подлинность, но как скажешь о ней теперь? Разве только многоточиями. Вот и приходится говорить все о „нарочитостях“, о подделках и проделках, о мелких бесах, о поверхности, о плоскости нашей жизни.

Взять хотя бы „Загадку России“, лекцию священносингела Мардария: она—лишь накипь на поверхности жизни, но не подобной ли накипью изобиловала российская кастрюля 1916 г.? Если уже до того дошло, что и Государственная Дума, и дворянский съезд выносили тождественные резолюции о темной накипи, о темных силах, заполонивших жизнь, то, надо полагать, подлинно была этой накипью „чаша с краями полна“... В чем сила этих сил—хотелось посмотреть своими глазами; на „лекции“, конечно, многого не увидишь, но все-же почувствуешь силу ума, силу убеждения и убежденности, пафос своей правды... если все это там хоть в малой доле имеется налицо.

И вот вышел на эстраду черный человек в черном плавно и скучно заговорил о „Загадке России“, что-де вот он мог бы нам, слушателям, ее раскрыть, да совер-

шить это в полной мере препятствуют ему независящие обстоятельства. Долго играл на этой благодарной и либеральной струне, затем напал сам на враждебную ему часть „темных сил“ и снова поиграл на либеральной струнке, что-де сказать об этом внятно и назвать многое поименно—мешают ему те же независящие обстоятельства. Затем говорил о том, сколь загадочен русский народ, и о том, что, несмотря ни на что, народ этот добрый и отзывчивый; в доказательство рассказал, как сам он, после кишиневского погрома, силою слова умирял страсти и был поэтому избран там на почетный пост товарища председателя союза русского народа. Говорил далее об искупительной войне, о жертве всенародной, о славянстве, все так же плавно, методично, бесподъемно...

Уходя с середины лекции, я дивился не тому, что с таким скудным талантом, с таким ограниченным умственным багажом человек дерзает обещать слушателям разрешение, хотя бы частичное, „Загадки России“: мало ли бывает претенциозных и безграмотных публичных выступлений! Нет, удивлялся я другому: в чем же сила этих явно неталантливых людей, — если, конечно, нет у них каких-либо других, таимых от толпы талантов? Разгадка, надо думать, не столько в этих людях, сколько в среде, от которой получают они свою силу. С интересом оглядывал я на лекции „первые ряды“, где восседали поклонники и сторонники „священносингела“, сановные мужи и посетители различных салонов. Все, что есть „неинтеллигентного“ в верхах этой среды, взвинченные эмоции, упрямая убежденность своего призвания, пафос карьеры, претензии что-то понимать в „народе“, все это —опора для возвышения ряда личностей, которым в иное время все пути были бы закрыты. Как может существовать эта среда--вот это подлинно „загадка России“; разгадать ее могут только будущие события.

В ожидании будущего взялся я за прошлое—и проводил старый год чтением старого романа А. Ремизова „Пятая язва“: читал, как „вождь жизни, старец Шапаев“ блудом лечил, бесов изгонял—и попал в тюрьму за свои методы лечения. Старец Шапаев был сложной фигурой, и та свистопляска, которая началась в городе Студенце после ареста старца Шапаева следователем Бобровым, показывает только всю толщу „обывательщины“ российской. Правда, мерзко смотреть было на хозяйничавшего в студенецкой жизни старца Шапаева, этого „вождя жизни“; мерзко, ибо, — говорит автор, — „всякая обезьяна творить нынче чудеса хочет... Обезьяна чудотворить полезла, и слепой слюнявый мерзеныш хозяйствует“ („Пятая язва“, стр. 147). Но если „хозяйствовал“ он, то, ведь, не без пассивного попущения обывательщины студенецкой,—и свистопляска над его тюрьмой позорна не для него, а для этой самой обывательщины...

Волна этой беспардонной обывательщины захлестнула нас,—и этим закончился старый год.

Вот почему так хочется хоть на несколько дней уйти от этой накипи города, забраться в глушь, отдохнуть от городской обывательщины, от немудреных загадок современной жизни. Ведь решение подлинной „загадки России“ — не в залах, не на лекциях, а у станка рабочего и у плуга крестьянина...

И я провожу первый день нового года в вагоне поезда, с тем, чтобы через неделю вновь возвратиться на берега Невы.

Январь 1917 г.

X. НЕЧТО О ГАЛСТУКЕ.

Думал провести в деревне три - четыре дня, пробыл две недели и, вернувшись на берега Невы, разбираюсь: какие же примечательные события пропустил я за это время? На столе моем—груда газет, повесток, билетов на заседания,—и я с тайным облегчением взираю на всю эту без меня канувшую в прошлое полосу столичной праздничной жизни. Но, разбираясь в этой груде, нахожу интереснейшие материалы, совершенно почти не отмеченные нашими газетами, и в то же время значительно более опасные для будущего, чем все феерии сумбурной жизни политических верхов. А потому, хоть и с небольшим запозданием, не могу не отметить происходившего в начале января „Второго всероссийского съезда деятелей по скаутизму“.

На бойскаутов нашего отечественного российского производства общество вообще обращает недостаточное внимание. Один из ораторов жаловался на съезде, что-де нигде в Европе не осведомлены так плохо об идее „скаутизма“, как в России, почему и отношение общества к скаутизму—критическое и даже отрицательное. Другие ораторы внесли поправки и дополнения: все это было уже и прошло, а теперь-де идея скаутизма завоевывает все более и более прочные симпатии общества. Доказательство: ровно год тому назад во всей России было лишь три бойскаутских отряда; прошел год, и эта организация насчитывает уже 43 отделения с 3.000 членов. Конечно, „это тебе не Англия“, где бойскаутов насчитывается круглым счетом полмиллиона; но если развитие российского скаутизма пойдет темпом прошлого года, то мы в два года не то что нагоним, а и перегоним Англию... Особенно если иметь в виду, что один из объявленных нынешним съездом докладов гласит: „О проведении идей скаутизма среди крестьян-

ской молодежи“... Крестьянская молодежь, — „се поле обширное и плодоносящее!“ И если каждой сельской школе дать отставного фельдфебеля в Вольтеры, тобишь в инструктора по скаутизму, то вы только представьте себе грандиозные результаты, о которых мечтают деятели „второго съезда“!

А среди деятелей этих характерны имена: „Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи“ (есть и такое звание!),—им состоит небезызвестный „свиты Его Величества генерал-майор Воейков“ (цитирую по „Трудам“ первого съезда), открывший съезд приветственною речью; затем—„помощник г. Главнонаблюдающего“, затем—„правитель канцелярии г. Главнонаблюдающего“, затем—директора некоторых казенных гимназий и реальных училищ, наконец—достаточное количество военных, несколько педагогов, докторов, литераторов.

Вот эти-то деятели, среди которых есть, вероятно, как и везде, и очень убежденные и очень искренние люди, собираются возродить Россию идеей скаутизма, чуть ли не обновить ею мир. По крайней мере среди докладов второго съезда имеются характернейшие: „Скаутизм—явление общечеловеческое“, „Скаутизм, как новая система воспитания“, и им подобные. А среди резолюций съезда имеется, наряду с пожеланием „объединить скаутов всего мира“, пожелание о формировании скаутских отрядов среди рабочей и крестьянской молодежи и просьба о поддержке нарождающейся организации городскими, земскими и иными общественными учреждениями... Полный поворот в деле педагогики, возрождение России и мира. Задача похвальная; но интересно: как же думают инициаторы соединить в одном деле „общественные симпатии“, к которым они взывают, с деятельностью открывающего их съезд „г-на Главнонаблюдающего“, столь ядовито названного в думских напечатанных речах „генералом-от-кувакерии“?

Но это, конечно, частность. „Дело не в лицах, а в системе“,—как принято говорить в настоящее время. Но когда я внимательно всмотрелся в „систему“, поставил точки над всеми i, договорил стыдливо недоговариваемое, то поистине — ужаснулся бы за наших детей, если бы хоть на минуту верил в возможность развития российского скаутизма до размеров английского образца. Но и теперь надо, не теряя времени, поднять голос против этой новой попытки милитаризации нашего юношества и наших детей. Уже организованы отряды девочек „скаутисток“ („герул“), уже читался доклад „Об организации волчат и медвежат“, т. е. детей-бойскаутов в возрасте от 8-ми лет! Затея с „потешными“ печально провалилась; вместо „потешных“ малышей, маршировавших три-четыре года тому назад по Марсову полю и по площадям многих российских городов, теперь перед нами проходят церемониальным маршем бойскауты. И последняя беда—подлинно горше первой.

Ибо „потешные“ были грубо и неприкрыто маршировальной организацией, без всяких задач высшей педагогики и переустроения человечества. Теперь, в бойскаутизме, на смену пришла не только маршировальная, но и педагогическая организация, с претензиями на внутреннее воспитание детей, на свою „систему этики“. И в этой системе,—по крайней мере в ее российском применении, — на наших детей обрушивается такая лавина мелкого фарисейства, которая, в связи со стороной маршировальной, может задавить все те добрые ростки, которые некоторые искренно хотели бы провести в жизнь через бойскаутизм.

Один из тысячи примеров: „Не ложись спать, пока не развяжешь узелка на галстуке“ — гласит одно из многочисленных правил, сочиненных для бойскаутов. Это значит вот что: узелок утром завязан, т. е., мальчик еще не успел сделать ни одного доброго дела; совершив днем доброе дело, бойскаут немедленно раз-

вязывает свой галстук, напоказ всем товарищам и в утешение самому себе... И это безнравственнейшее фарисейство находит на первом съезде защитников! Мало того: председатель общества бойскаутов, отставной адмирал, выражает пожелание, чтобы каждый мальчик „вел дневник своих добрых дел“ и показывал бы его по первому требованию начальника бойскаутского отряда...

И ничего: родители это читают, детей своих в новопотешную организацию отдают, организация растет и, чего не дай Бог, будет расти дальше; генералы наблюдают за физическим развитием народонаселения Российской империи, адмиралы желают наблюдать за его нравственным развитием, мальчики развязывают узелки на галстуках... ...Впрочем — не в одних галстуках тут дело. И я позволю себе в следующий раз подробнее остановиться на этом новом эксперименте, который генералы и адмиралы хотят проделать над подрастающим поколением.

Январь.

XI. СОБАКА НА ЗАБОРЕ.

Давно следовало бы по существу всмотреться в течение российского „скаутизма“ — им задеты уже сотни и тысячи наших детей. Небольшие сотни и малые тысячи—правда; но не ждать же, чтобы (как было с „потешными“) все Марсово поле заполнилось детскими отрядами, чтобы над душою ребенка производились опыты, иной раз самые невозможнейшие?

Российский „скатуизм“ — явление пока-что крошечное, от земли чуть видать; но планы его, виды его на будущее — весьма и весьма широкие. Заглохнуть ему или пышно расцвести—все зависит, конечно, от отно-

шения широких общественных кругов; и кругам этим пора уже подойти к скаутизму вплотную, твердо установить к нему свое отношение. А то, сказать по совести, уж очень легко относимся мы ко всяческим экспериментам, которые любой капрал, взяв палку, производит над детьми. Фребель так Фребель, Монтессори так Монтессори, скаутизм так скаутизм.

Должен признаться: и сам я очень легко и весело отнесся к первым всходам скаутизма на нашей отечественной ниве. Помню, как лет пять тому назад попала мне в руки первая русская брошюрка по скаутизму, доставившая мне и моим знакомым много веселых минут; она и теперь передо мною. Это—„Памятка юного разведчика", в которой так много прелестной наивности. И, действительно, разве не прелестно, что в правиле 73-м говорится: „Разведчики вежливы; Юлий Цезарь". Почему Юлий Цезарь—образец вежливости для разведчика, объясните ради Бога? Или вот правило 75-е, глубоко нравственное и необходимое для внушения юношеству: „Не возитесь с девушкой, с которой вы бы не желали, чтобы вас видели ваша мать или сестра". Совсем безграмотно, но очень педагогично. Или правило 86-е: „Человек, который не может выдержать натиск тяжелой работы и бедствий, не заслуживает названия мужчины. Пример: история двух лягушек в миске со сливками"... Причем здесь лягушки и миска со сливками—нехитрому уму не выдумать во-век!

Не менее, помню, утешались мы, читая изданные особо „заповеди, законы и правила" для отечественных бойскаутов. Например, одно из правил гласит: „Не будь акулой, которая жрет и только жрет"; другое требует: „Не держи руки в карманах, как бездельники"; третье приказывает: „Стой и сиди прямо, не горбясь и не подражая собаке, сидящей на заборе"... Где эти воспитатели юношества видели „акулу, которая, только жрет", или сидящую на заборе собаку—неизвестно; но

всю эту белиберду несчастные дети-„бойскауты“ должны были заучивать чуть ли не наизусть.

Все это было забавно, со стороны глядя; но теперь „со стороны“ глядеть уже не приходится. Я уже писал, что за один последний год скаутские организации в России выросли больше, чем в десять раз; это—уже не шутка. И от юмористических брошюр и заповедей российского производства необходимо поэтому обратиться к толстому тому основоположника скаутизма— к книге „Scouting for Boys“ полковника Баден-Поуэлля, разошедшейся уже в четырех изданиях и на русском языке.

Когда я прочел эту курьезно-примечательную книгу, то очень обрадовался: я встретил там подробно рассказанную нравственно-поучительную историю о лягушках в миске со сливками и сразу увидел, что российские насаждатели скаутизма—только слепые, вплоть до нелепых анекдотов, переводчики системы английского полковника на российскую почву. (Они, кстати сказать, считают этого полковника настолько гениальным, что сообщают во всеобщее сведение даже улицу и даже номер дома, в котором шестьдесят лет тому назад родился в Лондоне будущий полковник!). Но, читая книгу учителя и книги учеников, я все время вспоминал эту российского изобретения „собаку на заборе“. Хотя собаку на заборе я никогда не видал, но охотно допускаю, что в таком несвойственном ей положении вид у нее будет беспомощный, взъерошенный и дикий,—точь в точь настолько же, насколько беспомощны и дики в педагогике и основатель „новой системы воспитания“, и его российские ученики и поклонники.

Основная цель скаутизма — возвышенна и недосягаема: скаутизм есть „идеалистическое рыцарское движение“, „небывалый крестовый поход детей на завоевание Правды, Добра и Красоты“ („Труды 1-го съезда

по скаутизму“, стр. 87). Средство к этому—оздоровить физически и нравственно детей, поставить их ближе к природе, образовать их характер. Внешний путь к этому—игра в следопытов, в трапперов; отсюда все эти „разведки“, „выслеживания“, вся сложная военная организация скаутизма, дисциплина и стыдливо таящийся шпионаж... Скаутизм летает высоко, но садится низко—особенно в нашей российской действительности.

Ах, это такая грустная история! Следопыты и пионеры были нашими героями „в лесах дальнего запада“, мы когда-то восхищались ими, читая Купера; но когда мы подросли и из лесов Америки попали на шумные стогны университетских городов, то с нами вместе вступил в реальную жизнь и любимый герой нашей мечты.

Бывало, идешь, заметая следы, в университетскую столовую, несешь в карманах свертки нелегальнейших прокламаций,—о необходимости борьбы за представительное правление!—а следом за тобой искусно распутывает твои петли и обходы опытный... следопыт. В нашей российской действительности он, впрочем, носит несколько иное наименование,—но разве в имени дело? Дело лишь в том, что герой американских лесов является в русских городах тоже „героем“, да только с совсем другого конца. И не было ли бы несколько, ну, скажем, необдуманно—провозглашать славу всем следопытам и всему „следопытству“, если среди них встречаются и наши отечественные, извините, следопыты?

Приблизительно такую же „необдуманность“ совершают и русские насадители английского скаутизма. Они как-будто забывают, что полковник Баден-Поуэлль проповедует свое „следопытство“ в стране, в которой как-никак, а уже много сотен лет существует „великая хартия свобод“; они забывают, что у нас—„это тебе не Англия!“. И когда английский полковник на все лады восхищается романом Киплинга „Ким“,—не его прелест-

ными художественными типами, а лишь его невероятной для русского читателя идеализацией шпионства,— то русские ученики и поклонники не возражают англий скому учителю. „Он служил в Разведочном Департаменте",—флегматично констатирует полковник, предусмотрительно прибавляя в скобках: „Это нужно разъяснить детям", и тут же разъясняет сам: „т. е. был нечто вроде сыщика"... Это „нечто вроде" не находите ли вы поистине великолепным?

И так целыми страницами поучают детей английский полковник и его русские переводчики и ученики— о сыщиках, о тайной полиции, об интересной организации ее, о тайных знаках. Учат детей, как надо шпионить и выслеживать. „Не следует таращить глаза нужно взглянуть раз или два",—иначе злоумышленник становится сторожким, а благонамеренный человек становится сердитым. Учат детей, как „следует идти позади человека; наблюдая сзади, вы получите более ценные сведения, чем если вы будете наблюдать спереди, а тот, за кем вы наблюдаете, не будет и подозревать, что за ним наблюдают"... Вот она высшая школа для воспитания сыщиков! Может-быть, в видах государственных это и до чрезвычайности полезно, но, ради Бога, с какого конца это подходит к педагогике? Не говорю уже о всяческом восхвалении „известного сыщика Шерлока Холмса" и рекомендации „читать вслух рассказы о нем" детям...

Начали рыцарством и крестовыми походами, кончили сыщиками. Правда, русские ученики сконфуженно признают, что в этой своей части „гениальная книга Баден-Поуэлля диссонирует с нашими педагогическими воззрениями" („Труды", стр. 73). Это не мешает им тут же рядом (стр. 22) возводить в принцип взаимную слежку за членами своего братства: „Отряд скаутов, приняв под свое попечение того или иного юного разведчика, ставит своей постоянной задачей следить за ним,

получать сведения об его семейных условиях жизни и его отношениях к окружающим членам семьи"... Это—из доклада директора реального училища и начальника скаутского отряда!

Стоит ли после этого объяснять этим апостолам скаутизма, как дико звучит в нашей отечественной атмосфере постоянное восхваление полиции? Помогать полиции—долг скаута, ибо полицейский—слуга государства. Очень характерное „ибо"; но все-же неужели так-таки всегда и во всем помогать? Даже тогда, когда —свежий пример!—облава конных и пеших полицейских атакует заседание электротехнического отдела военно-промышленного союза? Несомненно да, ибо дисциплина для скаута—камень краеугольный! „Разведчики" должны исполнять даже абсурдные приказания своих начальников,—так поучает детей один из российских скаутмейстеров, в наскоро состряпанной „по Баден-Поуэллю" брошюрке. Под руководством этого замечательного педагога несчастные киевские дети-„скауты" избирают „суд чести", на котором, между прочим, выносят постановление по вопросу—можно ли критиковать распоряжения начальника? Ответ: „Начальник, как таковой, стоит вне критики, и плоха та организация, которая критикует свою голову" („Труды", стр. 46). Читаешь все эти перлы педагогики и все вспоминаешь про собаку на заборе; беспомощное, нелепое положение! И какой это злой человек придумал такую дикую забаву? Но ведь российских насаждателей скаутизма никто не сажал в несвойственное им положение педагогов; зачем же они сами полезли, зачем калечат детские души?

Сначала „следопытство", потом „дисциплина", за нею маршировальная муштра, „форменные отлички, в мундирах выпушки, погончики, петлички", взводы, роты, сложная военная организация. Печальной памяти „потешные" встречают глубокое сочувствие у русских по-

следователей Баден-Поуэлля; для них „потешные“, это—„опыт, достойный широкого подражания“ (стр. 6). Идеология этой ново-потешной организации—откровенно империалистическая, ею пронизана вся книга руководителя движения. Русские ученики немного стыдятся откровенности своего учителя; они рекомендуют, кроме того, не слишком увлекаться маршировальной стороной дела, а обращать внимание на „этику и философию скаутизма“. Но я, по совести, стою за „потешные“ организации; там, по крайней мере, ведется на чистоту: маршировальная этика, „помпонная идеология“ —и ничего больше. А тут, с этикой скаутизма, до того изломаешь детские души, что вчуже страшно станет.

Как понравится вам, например, следующая „драматическая пантомима“, сочиненная Баден-Поуэллем и разыгрываемая скаутами-мальчиками от 12-ти до 18-ти лет. Отряд скаутов в пустынях Южной Африки на привале; часовой охраняет найденный отрядом алмаз. Вор подкрадывается и крадет алмаз; все обрушиваются с упреками на часового, предводитель приказывает ему во искупление вины покончить самоубийством! Часовой подносит пистолет к виску, но —о, счастие!—вор пойман, алмаз возвращен. Скауты садятся в круг и судят—вора и часового. Первого приговаривают к повешению, второго—к исполнению приговора над осужденным. И тут же приговор приводится в исполнение: вора вешают на дереве и „оставляют висеть в назидание зрителям“; отряд уходит...

Ах, милые „потешные“! Вы маршировали, смыкались и размыкались, равнялись, строили шеренги, но никто не заставляет вас разыгрывать эти отвратительные „пантомимы“, играть в палачей и повешенных! И этот разврат спокойно и методично вносится в детскую душу; и эти пантомимы разыгрываются и смотрятся сотнями тысяч детей,—в одной Англии бойскаутов свыше полумиллиона!

Надо отдать справедливость английскому полковнику: он сам заметил, что сцена повешения немного — ну, слишком красочна, что-ли. И потом—трудности сценического исполнения: со всем реализмом изобразить повешенного! Поэтому он сцену эту изменил: часовой не вешает вора, а тут же застреливает его. Но зато—новый эффект!—тут же на сцене копают могилу, хоронят казненного, „утаптывают землю ногами"... В особом большом примечании полковник учит детей, как устраивать могилу на сцене, как ее засыпать, как утаптывать... „Все это,—заканчивает полковник,—требует тщательной подготовки, и если пьеса хорошо срепетована, она производит очень сильное впечатление, в особенности если сопровождается соответствующей музыкой"... Ну еще бы! Охотно верим. Но все-таки: не слишком ли все это сильные педагогические приемы? Сперва заставить детей пройти высшую школу шпионства, затем наглядно обучить их ремеслу палача?

Я охотно верю, что русские ученики „гениального" английского учителя не доходят до высоты педагогической тупости своего образца. По крайней мере, один из учеников рекомендует „сцену расстрела лучше изменить", другой из них считает эту сцену вызывающей „дурные чувства и вредные инстинкты". Не знаю, как они относятся к другим педагогическим приемам своего учителя,—например, хотя бы к тому, что „за божбу или сквернословие" виновному мальчику товарищи выливают за рукав кружку холодной воды,—и к целому ряду подобных же крайне остроумных приемов. Не знаю, как они относятся к способам „пробудить в мальчиках стремление получать значки отличия" (способ такой: начальник говорит мальчику, что без значка у него глупый вид, look silly); но я знаю, какое значение и в нашем отечественном скаутизме получила теория гениального учителя об обязательном ежедневном добром поступке, good turn. Отсюда все эти

„узелки на галстуках“, все эти „дневники добрых дел“, вообще все то мелкое развращающее детей фарисейство, которое, быть-может, во много раз опаснее и высшей школы шпионажа, и наглядного курса палачества.

Одна „утренняя и вечерняя молитва“ скаутов чего стоит! „Господи, помоги мне быть завтра лучше, чем я был сегодня!“. Так и вспоминается прелестная сказочка Ф. Сологуба о мальчике, который „сделался лучше“. Сделался мальчик таким хорошим, таким сладким, что из него патока потекла. „Уж ему и не рады были, — куда ни придет, везде своей патокой напачкает“.

„И мама сердилась“:

„На твои,—говорит,—сладости белья не напасешься; уж лучше бы ты в хулиганы пошел!“ А хорошему мальчику нравилось патоку из себя точить. Так он и остался. Вырос, угождает: из бумаги фунтики делает, в фунтики патоку точит, нужным людям подносит“...

И что другое придет в голову, когда прочтешь о том, как бойскауты „обязаны найти (на улицах) женщин или детей, нуждающихся в их помощи“, как затем они обязаны доложить „по совести“ начальству о своем добром поступке. Или вот не угодно ли: специально сочиненная для русских детей нравоучительная „песня о трех скаутах“. В ней дубовыми виршами рассказывается, как три скаута, повстречавшись „на скрещеньи трех дорог“, соорудили себе почему-то шалаш и стали рассказывать друг-другу о своих добрых делах. Один помогал бабам колоть дрова, другой целый день чинил неизвестно чей сломанный забор, а третий скромно заявляет, что он ничего доброго не сделал,— разве вот: „На пути бедняк попался, чуть меня не оттаскал; понял я, что он голодный, и ему краюху дал“... Тут два первых скаута воздают честь и хвалу третьему: „Больше всех ты поработал над своей душой!“... Па-

тока так и точится. Милые, хорошие мальчики! Уж лучше бы вы в хулиганы пошли!

И подобную безнравственную пошлость наши дети читают, учат, поют хором в скаутских отрядах! И это мелкое фарисейство капля за каплей вливается в детские души! А тут еще ребенка учат с презрением смотреть на всякого мальчика не-скаута, которому нет другого имени, кроме презрительной клички „неженка" (оффициальная скаутская терминология!). А тут еще господа инструкторы третируют „неженок" и восхваляют скаутов: „Мы все знаем, каким бывает мальчик не-скаут: он грязен, он делает много нехорошего, он не знает уроков, он груб в школе и дома... Вы знаете также, каков скаут: он представляет полную противоположность не-скауту"... („Труды", 109). А тут еще узелки на галстуках, а тут еще бессмысленные бойскаутские гимны: „Ен гоньяма, гоньяма! Я-бо, я-бо! Инвубу! Зинг-а-зинг, бум, бум!"... О, незабвенная собака на заборе!

И вот эта „гениальная педагогическая система" грозит перекинуться из Европы к нам, грозит искалечить сотни и тысячи юношеских душ. Должен признаться, я не верю в успех этого течения на русской почве: пуританское узколобие совсем не подходит к характеру русского ребенка. Но опасность не следует и преуменьшать. „Новую систему" желают захватить в свои руки разные господа главнонаблюдающие за физическим развитием народонаселения Российской империи, разные „патриотически" настроенные чиновники, разные карьеристы от спорта и от педагогики. Конечно, и здесь, как и всюду, не без искренно убежденных и честных деятелей, но уже не в их власти направить течение в новое русло. Этим новым руслом мог бы быть полный отказ от всей внешней формалистики и символистики, полный отказ от всего внутреннего фарисейства и сохранение лишь ценных и здоровых сторон скаутизма: летняя жизнь в товарищеских лагерях, приближение к

природе, изучение деревенского мира, самодеятельность. Но как-раз все это в наших условиях не может не быть на втором плане. Вы только представьте себе какого-нибудь директора гимназии с кругленьким брюшком, который ведет свой „отряд скаутов“ в лесу, учит переплывать реки, разводить костры, прыгать через рвы... „Сюжет, достойный кисти Айвазовского!“. В Англии дело, вероятно, идет иначе; но опять-таки—это тебе не Англия!

Так вот какова эта „новая система“. Можно было бы глубже вскрыть ее истинную подоплеку, показать, в чем подлинный пафос английского полковника, с кем и за что он борется. Пафос его—в борьбе за существующее устройство мира, за сохранение „лица мира сего“ во что бы то ни стало. Надо только „улучшить гражданственность“, оздоровить телесно и духовно молодые поколения, — и старый мир спасен еще надолго. Против социализма выдвигается футбол!—с тем только, чтобы не было в нем зрителей, а все были бы играющие. Скаутизм сотрет главу социализма! — вот тайная мечта английского полковника. И—кто знает?— не эта ли глубокая философия открыла скаутизму сердца и кошельки среднего европейского буржуа?

Но в такие глуби философии скаутизма можно и не заходить. Достаточно с нас знать приложение этой системы благонамеренного, но туповатого эстетически и этически типичного среднего европейца к нашей повседневной педагогической действительности. А приложение это достаточно, надеюсь, говорит само за себя. Нового опыта ломки детских душ русское общество не должно допустить,—и не допустит.

Февраль.

XII. ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ.

„Бывший студент Михаил Федорович", начинающий и непризнанный литератор, живет „в углах" у пьяницы-чиновника. Таня, дочь чиновника, торгует собою на улицах, чтобы спасти семью от голодной смерти. Лишь одна Таня понимает, ценит и любит непризнанного писателя,—одна она да, пожалуй, еще друг его, Монастырский.

А талантик-то у горе-литератора—грошовый, ходульный, взвинченный: это ясно из всего того, что он говорит в течение четырех действий со сцены Александринского театра. Хотя, судя по костюмам, дело происходит в середине прошлого века, но непризнанный Михаил Федорович все время напыщенно разглагольствует в тоне и стиле самых захудалых эпигонов декадентства наших дней. „В розовых одеждах идет к нам дьявол белых ночей!"—не угодно ли в течение четырех действий слушать подобный поэтический пафос от начинающего литератора середины прошлого века! И когда это он успел поучиться у Леонида Андреева?

Так или иначе, а приходит все-таки к нему и слава. Приходит она в его „углы" в образе двух литераторов,—„редактора журнала, известного поэта Незабытова" и „известного критика Григория Аполлоновича", как рекомендует их нам программа. На сцене это — два „восторженных дурака", Бобчинский и Добчинский от литературы. Они восхищаются „громадным талантом" Михаила Федоровича, дают ему деньги, смешно перекоряются друг с другом, потешают публику и приводят ее в веселое настроение. Тут, кстати, зрителю становится совершенно ясно, что если эти Бобчинские и Добчинские в восторге от таланта Михаила Федоровича, то, стало-быть, серединность его—непререкаема, достоверна. Скажи мне, кому ты нравишься, и я скажу тебе, кто ты.

Вот, в сущности, и конец действу. Для оживления его введена еще „сильно комическая“ фигура отставного капитана Прелестнова, да романическая фабула о тяжелой любви между Михаилом Федоровичем и генеральской дочерью Раисой. Судьбу их устраивает бедная Таня, после чего и бросается под лошадей. Смертью ее и ходульными речами отныне уже признанного писателя кончается пьеса,—драма в четырех действиях „Милые призраки“ Леонида Андреева, на „премьере“ которой был я вчера.

Что-ж? Пьеса, как пьеса. Леонид Андреев пишет их теперь в таком изобилии, что предъявлять к ним особо повышенные требования было бы явной несправедливостью. Требования „художественности“—явно к ним неприменимы; достаточно и того, что выдерживают они хотя бы требование „сценичности“. А для этого Леонид Андреев—уже достаточно опытный драматург. Он хорошо знает, как и где „оживить“ действие, где и как растрогать зрителя, как и чем развеселить его. Сколько оживления вносят в зрительную залу литературные пошляки, поэт Бобчинский и критик Добчинский! Или как похоронно обставлен „внос тела“ раздавленной Тани, истерические рыдания брата, во блаженном успении вечный покой! А сильно комическая фигура отставного капитана Прелестнова, в прекрасном исполнении Давыдова! Быть может, только один покойный Шпажинский столь же подробно знал законы сценического действа; и если ныне Леонид Андреев и количеством, и качеством пьес собирается занять вакантное место обер-драматурга наших дней, то мы должны по совести признать, что он имеет на это несомненные права.

С таким чувством смотрел я все последние многочисленные пьесы Леонида Андреева в разных театрах двух столиц. Но вчера впервые к этому приятному чувству примешалось и другое, далеко не столь прият-

ное. „Милые призраки“,—что-ж? Пьеса, повторяю, как пьеса. Но уже в середине действия, развертывая программу пьесы и вложенное в нее „либретто“, я прочел разъясняющие слова, которые из „пьесы, как пьесы“ делают нечто более серьезное по замыслу, нечто более неприемлемое по выполнению.

„Под именем Михаила Федоровича,—читаю в программе,—выведен один из величайших русских писателей, а окружающие его—призраки тех лиц, которые послужили этому писателю прототипом для изображения некоторых героев его произведений“...

Что такое?! Ничего не понимаю! И не потому, что безграмотно это сказано, а потому, что долго еще не могу я поверить своим глазам и авторским речам. Как! Этот ходульный фразер, говорящий с пафосом о розовых одеждах дьявола белых ночей, этот непризнанный писатель Михаил Федорович, это—Федор Михайлович Достоевский, до напечатания „Бедных людей“! И живет он в семье чиновника Мармеладова из „Преступления и наказания“! И раздавленная лошадьми Таня, это — Соня Мармеладова из того-же романа! Дальше и дальше раскрываются „милые призраки“: Раиса—какая-нибудь Аглая из „Идиота“, Егор Монастырский—явно приятель Раскольникова, Разумихин, и еще, и еще! А вот и „милые призраки“ не из произведений, а из жизни Достоевского: поэт Бобчинский—конечно же Некрасов, а критик Добчинский—что-то среднее между Белинским и Аполлоном Григорьевым. Их привел автор в „углы“ Достоевского (как действительно пришли к нему когда-то, в восторге от „Бедных людей“, Некрасов и Григорович), их заставил увеселять нелепыми пререканиями публику,—и, вероятно, думал, что творит это во славу и честь литературы! Один из этих Бобчинских так и был откровенно гримирован Некрасовым. Не знаю, отчего постеснялись сделать то же и с Белинским? Но зато актер, игравший его, так

старался изображать „неистового“ критика, а жильцы углов так восторженно узнали сразу же, „по портретам“, знаменитого критика и знаменитого поэта, что всякие сомнения для зрителей были бы неуместны.

И ничего! Деточки скушали, ложки обтерли, сказали: спасибо! Автора вызывали и венками увенчивали. Некоторые газеты на другой день умилились тем апофеозом литературы, который они заметили в пьесе Леонида Андреева! Воистину—апофеоз! Фразер и позер Достоевский, шуты гороховые—Некрасов и Белинский! А тут еще милый пьяница-капитан, который кстати и некстати цитирует... будущие стихи Некрасова, с благоговением говорит о „неистовом Виссарионе“, о Грановском! А тут жильцы углов, рассуждающие о великом звании литератора! Ну, конечно же—апофеоз, с какого конца ни подходи...

И ведь я уверен —Леонид Андреев вполне искренно хотел... почтить. Писал с хорошим чувством и хорошо знал свою публику: скажет спасибо! Он искренно, вероятно, не видел всей пошлости целого ряда слов, речей, поступков своего героя, он „восстановил“ юного Достоевского, как мог. Его-ли вина, что вышло... то, что вышло? Это не вина, а беда его,—беда всего творчества Леонида Андреева последних лет. Но это—тема особая и длинная.

Но, кроме беды, есть и вина, даже двойная: вина драматурга и вина театра. Я не знаю „Милых призраков“ в чтении: быть может, там и Достоевский — не такой фразер, и все эти дьяволы в розовой одежде не так подчеркнуты, и Некрасов с Белинским не такие шуты гороховые,—не знаю. Но знаю и вижу, что автор допустил на сцене именно такое толкование своих героев, не воспрепятствовал той трактовке, которую мы вчера видели на „образцовой“ нашей сцене.

И здесь вторая вина,—вина уже этой „образцовой сцены“, которая печет постановки, как масляничные

блины, поддакивает во всем автору: лишь бы сценично было! И какая быстрота производства! В начале января автор впервые читает „Милые призраки“ господам артистам; в начале февраля блин уже испечен, — мы видим „премьеру“. И пусть этот очередной блин будет комом, пусть художественный провал вещи несомненен — что до того! Был бы лишь внешний сценический успех. Так было с „Хиромантиками“ Мережковского, так есть с „Милыми призраками“ Андреева, так будет с любой очередной новинкой.

Но здесь уже вторично подхожу к совсем особому вопросу: к тяжелой и затяжной болезни Александринской сцены. Это тоже тема особая. А пока, возвращаясь к этим тяжелым „призракам“ (вот уж не „милые“, избави Боже!), хочу отметить: что за эпидемия у господ драматургов выводить в пьесах этого сезона живых лиц, деятелей литературы и общественности, в вольной обработке? Мережковский исказил облики сестер Бакуниных и Мишеля. Андреев устроил апофеоз с другого конца Достоевскому, Белинскому и Некрасову. За что эта напасть на нас? И „долго ли сея муки будет“? И чем провинились они, „призраки“, и мы, зрители? Чем они — не знаю, а чем мы, зрители, — знаю: нашим добродушным отношением к таким апофеозам, лишь-бы „сценично“ было. Деточки скушали, ложки обтерли, сказали: спасибо! Ну, что-ж: на здоровье!

Февраль.

XIII. МАСКАРАД *).

Еще раз о театре—и, надеюсь, в последний раз о театре. Жизнь бурно перекипает через край, заливая мертвые театральные кулисы; и на сцене, и в зрительном зале—двигаются разряженные мумии, жуткие маски-марионетки, мнимые отражения подлинной жизни. Быть на этом маскараде, писать об этом маскараде—тошно и противно.

И каким поистине жутким символом явилась постановка Лермонтовского „Маскарада" Александринским театром! Ибо, если окинуть взглядом последние годы—что, как не трагический маскарад, эта жизнь „верхов" разлагающегося душевно общества? В глубинах города, в глубинах деревни можно уходить к подлинной жизни—не имея возможности сказать о ней членораздельно. А на вершинах—безраздельно царят тусклые мертвецы. „милые призраки", многоразличные „хиромантики". Трагический маскарад русской жизни.

Вчера вечером я шел на „Маскарад" с далекой петербургской окраины. Недалеко от Троицкого моста посередине улицы лежал с разбитыми стеклами и погнутыми колесами трамвайный вагон. Днем по этой же улице двигались массы народа, требуя „хлеба"—и только-ли хлеба? Еще вечером раздавались одиночные выстрелы. На улицах пусто. Царь-голод не вмешался еще в маскарад.

И вот—ярко освещенная зала, костюмы и наряды, довольные и самодовольные лица, эпатантные декорации... В публике с почтением передают, что одна только часть декорации обошлась в восемнадцать тысяч руб-

---

*) Последняя, ненапечатанная в газете, статья конца февраля 1917 г. Непосредственным продолжением является ряд статей „Из дневника революции", напечатанных в моей книге „Год Революции", Изд. „Революц. Социализм", Спб. 1918 г.

лей, что вся постановка стоит сотни тысяч... точно в этом дело! А впрочем—и в этом тоже есть „дело"... только с другого конца.

Жутко сидеть на этом мертвом „Маскараде", среди неслыханной роскоши постановки, среди этих живых мертвецов, трагических масок современности. Ибо жизнь—не здесь, ибо эти маски—те самые, о которых я слышу со сцены:

У маски ни души, ни званья нет—есть тело;
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело...

Да, маску с чувств снимают, чтобы надеть двойную маску на человеческое лицо. Ибо непривлекательно оно, это „лицо" современного дикаря высшей культуры, трусливого, мелкодушного мещанина наших дней—как и дней Лермонтова:

В тебе одном весь отразился век,—
Век нынешний, блестящий, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей,
Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь...

Как же не прикрывать маскою это лицо, эту подлинную facies hyppocratica современного общества?

Так думал я, сидя на „Маскараде". Долго выдержать не мог, не хватило силы просидеть мертвецом с мертвецами, гутируя тонкое—и густое—„мир-искусничество", бесконечно удаленное от жизни. Жизнь—не здесь, не в этом слое общества, не в этом пласте культуры: быть может в этом нехитрый итог переживаний этого „сезона", переживаний целого ряда лет. Но жизнь—кипит рядом. Это чувствую я и в глубине деревенской, и в глубине городской, где нет масок на душах и лицах, где нет маски и на человеческом слове.

Петербург.
24 февраля 1917 г.

27 февраля 1917 года.

27 февраля 1917 года.

(*Страница из воспоминаний*).

... „Интеллигенция—соль земли“, „литература—соль интеллигенции“... Как-же случилось, что двойная соль эта оказалась такой пресной с первых же часов революции и до последних ее часов? Почему подавляющее большинство писателей в марте (про октябрь уже и не говорю) стало этой „интеллигенцией“ в кавычках, потерявшей всякий вкус? Надо бы закрепить ряд характернейших бытовых наблюдений над этой средой в дни февральского переворота, чтобы уяснить неизбежность всего последующего пути. Но об этом—не сейчас.

В Царском Селе более месяца гостил у меня тогда московский писатель А. Б. Мы по разному, но согласно верили в грядущую революцию, зная, что политическая перейдет в социальную, и веря, что социальная дойдет до границ духовной. По разному, но одинаково враждебно относились мы к духовному растлению, вызванному мировой войной, во власти которого одинаково были тогда и российские зубры, и Плеханов, и Керенский. Ожидали нового, не слишком надеясь на хорошее, не предвидя худшего, не зная еще форм и выявлений мировой катастрофы, но чувствуя ее приближение.

Вспоминаю об этих настроениях, ибо в корне противоречили они всему тому, что переживалось в массе „русской интеллигенции“ за годы войны и за дальней-

шие месяцы революции. Согласны все были только в одном: „что-то будет“... Все ждали событий—каких? Помню, накануне революции показывал мне А. Б., вернувшись из Петербурга, полученную от А. В. Карташева брошюру с надписью: „От автора, в канун нового дня“. Это было 25 февраля.

Отрезанный от Петербурга коротким нездоровьем, только 28-го рано утром мог я отправиться в штаб-квартиру подготовлявшихся тогда к выходу „Скифов“, к С. Д. Мстиславскому. Здесь мы разошлись с А. Б.— он отправился на Сергиевскую к Мережковским, куда и я должен был зайти к нему в 12 ч. ночи; меня же С. Д. Мстиславский провел в Таврический дворец, где он уже сутки работал в революционном штабе. В „Воспоминаниях“ его мы прочтем когда-нибудь много интересного о днях революции [1]).

Кипели бурным приливом и отливом корридоры Таврического дворца. Первая сцена, на которую я наткнулся у дверей комнаты № 41 (революционного штаба): к прижатому у окна Керенскому солдаты с криком и бранью подводили какого-то маленького, сердито-испуганного генерала; две-три обнаженные шашки безвредно и мирно мелькали в воздухе. Генерал (оказавшийся „здравоохранителем“, проф. Рейном) был немедленно отпущен за ненадобностью, и тут мы перекинулись с Керенским несколькими холодными словами. После наших длинных разговоров в июле 1914 года, после моей статьи 1915 года „Испытание огнем“—даже февраль 1917 года не растопил льда взаимных отношений двух социалистов, стоящих на разных полюсах. Короткими фразами о том, что „революции теперь не остановишь“ (в которые мы, очевидно, вкладывали совершенно различное содержание), началась и закончи-

[1]) Отрывки из них уже напечатаны в его книжке „Пять дней“ 1922 г.).

лась наша беседа. Думаю, что в душе Керенский охотно мог послать меня далеко, и лишь три-четыре года спустя я с изумлением узнал из „Записок о революции“ Ник. Суханова, что „послал“ он меня гораздо ближе, чем я мог предполагать.

За все время революции я виделся после этого с Керенским только один раз, в начале апреля, когда им было устроено свидание членов редакции „Дела Народа“ с приехавшим из Франции Альбером Тома, по желанию этого последнего, хитроватого и хамоватого министра-социалиста. Но рассказ об этом курьезном свидании выходит за пределы моей страницы из воспоминаний; возвращаюсь к вечеру 28 февраля.

Корридоры кипели волнами народа, в боковых комнатах начинали жизнь организационные ячейки, все и вся были в эти дни и ночи в Таврическом дворце,— где же была ты, о соль соли русской земли, российская литература? Были отдельные литераторы, так или иначе связанные с разными политическими партиями, все больше второстепенные и третьестепенные винтики литературно-партийных колес; ходил сумрачный по залам и корридорам М. Горький, не знающий, к чему приложить руки, и находящий, что все идет „не так“; А. В. Пешехонов промелькнул и исчез, командированный занять место пристава Петербургской стороны; три-четыре кадетских публициста вращались в орбите Милюкова в комнатах Думского Кабинета... Русскую литературу представляли здесь не они, эти одиночки, а твердо спаявшаяся группа мелких рецензентов „буржуазных и бульварных“ газет, уже наладившая издание „Известий“. Вот она, соль русской литературы; а остальные—отсиживаются в своих кабинетах, слушают в форточку пулеметную трескотню и загодя начинают брюжжать на „эксцессы“ революции.

В комнате № 11 (перед залом Совета) встретил я В. М. Зензинова, будущего бессменного духовного се-

кретаря Керенского, взявшего на себя миссию плакать слезами сочувствия в жилет своего принципала при всех его политических огорчениях и досадах. Он предложил мне принять участие в организуемых „Известиях Совета Рабочих и Солдатских Депутатов“. Я уклонился от этого предложения: для такой работы нужен политический публицист. Но через минуту мне пришлось взяться за политическую статью уже совсем „с другого конца“.

Группу рабочих с.-р.-ов, будущих „левых“, организовывал тогда Александрович. Встретив меня, он стал убеждать—написать воззвание для группы „левых“ о ближайших задачах, в виду необходимости выяснения отношений подлинной „рабочей революции“ к той политической хитрой механике, которую уже начинали налаживать будущие „соглашатели“ из Совета и Думский Комитет. Я согласился попробовать, и мы условились, что через час он придет искать меня в зале Совета.

Было часов десять вечера. Полутемный и пустынный зал Совета, с огромным „покоем“ покрытых зеленым сукном столов, был удобным местом для работы. Я сел и стал писать статью—ту самую, которую ровно через месяц в значительно дополненном и измененном виде напечатал в „Деле Народа“ под заглавием „Вольга и Микула“ (перепечатана в моей книге „Год Революции“). В ней говорилось о том, что либеральный Вольга из разных партий скоро начнет „колпачиком помахивати“ и загодя кричать Микуле революции—„стой-ка, постой, оратаюшко!“, что Микуле с Вольгой не по пути, что скоро дороги их разойдутся, что они лишь временно сошлись на общей задаче взрыва самодержавия; пусть поэтому в ближайшие дни и недели власть будет захвачена Думским Комитетом—вскоре он должен быть и будет свергнут, но нельзя за эту задачу браться сегодня, когда надо еще свергнуть самодержавие, когда еще не организованы силы революции. И ближайшая задача социалистов—организация этих сил.

Когда через час пришел Александрович, то после пятиминутного разговора выяснилось, что статья моя никуда не годится—во-первых уже потому, что она статья, а нужно острое и резкое воззвание; во-вторых же Александрович твердо стоял на том, что аппарат власти должен быть захвачен социалистами сегодня, сейчас, немедленно, и что они, объединенные левые, приложат все усилия, чтобы слова эти не остались словами. А если при этом tertius gaudens, самодержавие, найдет силы, чтобы порознь разбить революцию? Не найдет! Да если и найдет, то не надолго, и уж лучше гнилое самодержавие, чем крепкая буржуазная республика, которая сильнее закабалит народ...

Милый, бедный Александрович! Я глубоко виноват перед ним: еще в 1915 или 1916 году, не помню, когда он приехал ко мне из-за границы яко-бы с литературным предложением от центрального комитета с.-р.-ов, я отнесся к нему крайне недоверчиво—и это недоверие не рассеялось теперь, в эту ночь 28 февраля. Разговор наш был короткий и ясный: он счел меня за „социал-соглашателя", я его—за авантюриста, и мы разошлись, не поняв друг друга. Встретились мы с ним снова и уже дружески—через год, за несколько месяцев до его трагической смерти.

Но от трагедии—к комическому интермеццо. Пока я сидел и писал статью в зале Совета, по другую сторону стола передо мной остановилась сухая фигура, жирно жующая бутерброд; пережевывая, она произнесла: „А, и вы с нами! Ну, конечно!" Я поднял голову и узнал будущего автора „Записок о революции", Ник. Суханова.

В 1913 году, когда я был в „Заветах", он часто ходил в редакцию со статьями, обижался на редакционную „цензуру", старался вести свою линию „народника-марксиста", потом вел уже более марксистскую линию в угасавшем „Современнике", потом стал при М. Горь-

ком и „Летописи". Теперь он стоял передо мной, как член Исполнительного Комитета; сколь мучительно хотелось ему попасть в „политический центр"—об этом сам он подробно рассказал в своих „Записках". Между нами произошел следующий короткий диалог:

— Что-же вы стоите? Присядьте.

— Вечные ваши редакторские замашки! Здесь *я* могу *вам* предложить присесть!

— Вряд-ли можете, так как я уже сижу, а вы стоите...

Он круто повернулся и ушел—и не появлялся больше на моем горизонте до лета следующего года, когда мы встретились с ним на улице Москвы и снова обменялись такими же короткими и столь же приветственными фразами... О первом нашем диалоге я тогда-же рассказывал, смеясь, некоторым товарищам, знавшим Н. Н. Суханова и его довольно обидчивое самолюбие.

К моему величайшему изумлению—эпизод этот нашел себе место в его „Записках о революции"—иначе я не стал-бы о нем и упоминать. Вот как он там изложен:

„...Пришел посланный Керенским Иванов-Разумник предлагать свои услуги по литературной части, но тут же исчез и более не появлялся на советском горизонте"... (т. I, стр. 155).

Так вот куда послал меня, оказывается, Керенский! И вот как я предлагал свои услуги по литературной части Ник. Суханову.

Но тогда было не до комических интермеццо. После разговора с Александровичем я с тяжелым чувством ушел на короткое время из Таврического дворца, чтобы по условию встретиться с А. Б. у Мережковских; к ним я шел впервые. Утомленный и усталый, боясь за революцию, я попал в штаб-квартиру будущей духовной контр-революции. Но это—уже новая страница из воспоминаний, которые никогда мной не будут написаны.

1921 г.

